



Дредноут "Севастополь" и Моонзунд

Алексей Кукушкин

Алексей Кукушкин

Дредноут "Севастополь"
и Моонзунд

«Автор»

2026

Кукушкин А. Н.

Дредноут "Севастополь" и Моонзунд / А. Н. Кукушкин —
«Автор», 2026

Что, если бы линкор «Севастополь» получил шанс переписать историю XX века? Эта книга хроника корабля, построенного слишком поздно для Цусимы, но способного изменить её исход, появившись он у того рокового сражения. Что, если бы на нём внедрили новую систему бронирования, доведя главный пояс до 300 мм — толщины, способной выдержать удары самых мощных орудий? Это смелое предположение о том, как русский дредноут мог бы встать стеной на пути японских броненосцев. Вы пройдёте путь от стапелей Балтийского завода, где корабль родился в муках недофинансирования и инженерных споров, до ледяных вод Балтики, где принял свой первый бой. В центре повествования два противостояния, где новая броня решает всё. В Моонзундском сражении 1917 года 300-мм пояс позволяет «Севастополю» прикрыть отход броненосца «Слава», приняв удар германских дредноутов и обеспечив прорыв, а в 1921-м, когда Кронштадт восстаёт против большевиков, та же броня превращает линкор в неприступную цитадель.

© Кукушкин А. Н., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Доклад императору	5
Множество мнений	8
Дредноутная лихорадка	15
Тридцать миллионов на спасение	35
Конец ознакомительного фрагмента.	36

Алексей Кукушкин

Дредноут "Севастополь" и Моонзунд

Доклад императору

Октябрьским утром 1905-го, адмирал Бирилев, держал в руках папку, которая весила как заряженный минный аппарат. Восемь месяцев я собирал эту правду по докам, от Кронштадта до Севастополя, от Либавы до Владивостока, и каждая бумажка внутри папки пахла гнилью и казённым равнодушием. Цель была простой, выбить у государя сорок миллионов золотых рублей, на возрождение флота, после Цусимы, потому что без денег, даже самый верный офицер бессилен, что либо сделать.

Государь сидел за столом, пил чай с вареньем из крыжовника (банка стоила полтора рубля, как три пуда угля, который не могли выгрузить в Либаве), и спросил: «Ну что, Алексей Алексеевич, совсем всё плохо?»

Энергичный адмирал ответил: «Хуже, ваше величество. Вашего флота больше нет. Есть корпуса, пушки и матросы, отдельные корабли, но целого организма нет, он упокоился на дне Цусимского пролива».

Ники отставил чашку, а Бирилев видел, как побелели его костяшки. Ощущение поражения пришло у того мгновенно. Государь перебил меня на третьей минуте: «Вы просите сорок миллионов? Это более чем в два раза, больше годового бюджета министерства императорского двора!»

Тогда Алексей Алексеевич понял, что самодержец уже отказал, еще не услышав про пироксилиновые снаряды, которые не рвутся. Не увидев цифр, про пятьсот пятьдесят пять чиновников в одном Петербургском порту, просто отказал, потому что боялся лишних цифр. Вот так просто, сорок миллионов превратились в двадцать, а флот остался без доков.

Николай встал и подошёл к стене, где висела карта Балтийского моря. Я смотрел на его спину, прямую, как киль броненосца, и ждал. Тишина затянулась на минуту, на две. Он спросил, не оборачиваясь: «А как обстоят дела в Свеаборге? Там же вроде порядок?»

Бирилев ответил: «Порядок, ваше величество, но порт рассчитан всего на десять миноносцев, а должен быть главной минной базой».

Последовала пауза и самодержец произнес: «А как обстоят дела в Либаве?»

«Восемнадцать лет строили базу флота, ваше величество, а сейчас станки сломаны. Даже "Ангару" - наш транспорт-мастерскую, пришлось туда перебазировать, чтобы миноносцы чинить».

Дилемма встала перед самодержцем, и адмирал, её почти физически ощущал. Первое, это признать, что страна профукала десять лет и полмиллиарда рублей на флот, который утонул в Цусиме и не возродился. Второе сделать вид, что доклад, это просто бумажка, а завтра всё наладится само. Государь выбрал третье, самое невозможное решение, со словами: «Сколько стоит док в Инкермане?» — спросил он.

«Двенадцать миллионов», — ответил я.

Он кивнул, и я понял, что он решил дать деньги, но не все. Двенадцать на док, восемь на остальное. Остальное, через Думу. Решение было половинчатым, как чемодан без ручки, и нести тяжело, и бросить жалко

Я открыл папку и начал перечислять, а голос мой, кажется, гремел на весь кабинет: «В Кронштадте из четырёх доков для больших кораблей работает один. Глубина двадцать восемь футов. Броненосец "Слава" уже сидит на двадцать девять, а если пробоина, то не влезет вообще».

Государь слушал, и я видел, как его лицо становится каменным, но я не мог остановиться.

«В Либаве, погрузка угля, производится тачками. Ночная смена невозможна, так как нет электричества. В мастерских установлены примитивные станки. Даже ремонт миноносцев идет через пень-колоду».

Конфликт нарастал с каждой секундой, потому что я говорил о деньгах, а государь слышал упрек в том, что он не проконтролировал, не доглядел, не приструнил воров. Я перешёл к Петербургскому порту: «Пятьсот пятьдесят пять чиновников, ваше величество, во всей Германии на Балтике лишь триста, во Франции всего семьсот, а у нас полк писак, которые едят бюджет».

Государь побледнел, не от цифры, а от сравнения, мое поражение стало окончательным, когда он сказал: «Вы слишком резки, адмирал».

Я понял, что проиграл, так как моя правда оказалась слишком горькой.

Государь вернулся за стол, но чай уже не пил. Варенье остыло, покрылось плёнкой, как затянувшаяся рана. Он спросил: «А что там со снарядами? Говорят, плохие?»

Я ответил, стараясь не повышать голос: «Хуже, ваше величество, пироксилин на жаре разлагается. Снаряды не рвутся, в Цусиме японцы держали по десять попаданий и тонули только от двадцатого».

Государь поморщился, я знал, что он это слышал. Слышал от адмиралов, от командиров, от всех, кто вернулся из плена, но почему-то не верил.

Дилемма встала ребром, своей технической стороной. Заменять пироксилин на тротил, это три миллиона на перестройку заводов и два года простоя, не заменять, значит, флот будет стрелять пустышками.

Государь спросил: «А что предлагает министр?»

Я соврал: «Он думает».

На самом деле министр не думал, он ждал, когда само рассосётся. Вот тогда я принял для себя решение: после доклада пойду к Шульцу, артиллеристам, и заставлю их делать тротил любой ценой. Даже если придётся нарушить приказ. Даже если под трибунал. Я перевернул страницу доклада: «Севастополь, ваше величество. Единственный порт на Чёрном море. Рейд не защищён от внезапных нападений, боновых заграждений нет».

Государь удивился: «Как нет? А что было двадцать пять лет?»

Я ответил: «Броненосцы были, а заграждений нет».

Конфликт тлел под пеплом казённого спокойствия.

Я продолжал: «Севастопольские доки подходят только для кораблей старой постройки. Броненосец "Три Святителя" уже сидит глубже, чем надо, а если приведут новый линкор, то даже в Инкерман его не заведёшь».

Государь спросил про казармы и я ответил: «В Севастополе потратили кучу денег на морские казармы, ваше величество, но климат там тёплый, эскадра может круглый год находиться в море. Казармы же, в текущей ситуации, это рассадник пропаганды».

Он усмехнулся, в первый раз за весь разговор и спросил: «Это вы про революцию?»

Я кивнул, и понял, что проиграл битву за деньги на доки. Потому что государь думал не о броненосцах. Он думал о матросах, которые в 1905-м стреляли в офицеров, а мне оставалось только собирать папку.

Аудиенция кончилась, государь подписал резолюцию: «Выделить двадцать миллионов из личного резерва, остальное все через Государственную думу».

Двадцать вместо сорока, это половина. Я поклонился и вышел. На ступенях Зимнего меня встретил ветер с Невы, сырой, промозглый, как предчувствие новой войны. Я закурил «Богатырские», по пятнадцать копеек десяток и вдруг подумал, что эти двадцать миллионов уйдут на латание дыр, а на новые доки, на угольные пристани, на тротиловые снаряды денег не останется.

Дилемма, которая терзала меня всю дорогу до штаба, была проста. Первой мыслью стало уйти в отставку и не быть свидетелем позора. Второе остаться и делать хоть что-то, даже если знаешь, что не успеешь. Я выбрал второе, потому что кто-то же должен считать эти проклятые пуды угля и футы осадки. Всю дорогу в санях я прокручивал в голове одну цифру - восемнадцать. На восемнадцать эсминцев нет ни одной мины, через год их разоружат, а через пять Германия начнёт строить дредноуты и мы снова окажемся у разбитого корыта, а знаете что? Мне тогда казалось, что хуже уже не будет, как же я ошибался!

Множество мнений

Кабинет Учёного отдела Морского технического комитета.

Февраль 1906-го, Петербург. Я, штабной офицер, сижу с блокнотом в углу и слушаю, как старые адмиралы делят шкуру неубитого медведя. Моя задача проста, опросить всех, кто вернулся из Цусимы, и выжать из их показаний единую формулу нового броненосца, для Российского императорского флота. Цель амбициозная, за один месяц превратить кровь и пепел в сухие цифры тактико-технических требований.

В комнате душно, пахнет мастикой для пола и старым табаком. Адмиралы разместились кто где, одни за столом, другие у карты на стене, третьи просто стоят, прислонившись к подоконникам. Я переворачиваю чистую страницу и готовлюсь записывать.

Конфликт между моряками вспыхивает, практически, сразу. Контр-адмирал Николай Иванович Небогатов — грузный, с окладистой седой бородой и вечно налитыми кровью глазами человека, который не спал нормально уже полтора года, стучит кулаком по карте так, что фигурки подпрыгивают: «Нам нужна скорость! Двадцать один узел! Японцы имели пятнадцать с половиной и всё равно догнали!»

Кто-то из молодых офицеров за соседним столом неловко кашлянул. Небогатов в этом зале не любили. Слишком свежа была память о Цусиме, о белом флаге на «Императоре Николае I», о позорной сдаче, которой закончилась карьера адмирала, принявшего командование после ранения Рожественского. Но сам Небогатов свою вину знал иначе, он носил её в себе, как незаживающую рваную рану. Он помнил каждую минуту того утра 15 мая 1905 года. Помнил, как его отряд, в четыре броненосца, из которых два, вообще береговой обороны, с орудиями, которые не могли пробить японскую броню даже в упор, был окружён превосходящими силами адмирала Того. Помнил, как пересчитал снаряды, на «Николае I» оставалось по десять выстрелов на ствол, на «Апраксине» и того меньше. Он помнил главное, он принял решение не ради себя, а чтобы не гнать матросов на верную смерть, когда флот уже был обречён. Он опускается на стул, я записываю его слова про 21 узел и проводю ладонью по лицу.

Пальцы у Небогатова узловатые, с распухшими суставами. Внешность у него тяжёлая, брови нависают, под глазами мешки, воротник мундира вечно расстёгнут, потому что душно. Но глаза живые, умные, с той цепкой наблюдательностью человека, который всю жизнь командовал и привык отвечать за чужие жизни. Он вспоминает статью, которую написал в 1906 году в газету «Наша Жизнь» — «Цусимский бой», в которой попытался объяснить, почему всё случилось именно так. Писал в камере Петропавловской крепости, куда его отправили после суда. Писал, сцепив зубы, зная, что подпишет себе приговор общественным мнением, но не мог молчать. Там он рассказывал: негодные суда, плохое снаряжение, неопытные команды и главное фанатик Рожественский не дал перед боем никаких инструкций, не организовал разведку, а когда его ранило, эскадра осталась без управления. Небогатову просто достался этот кошмар уже в разгаре, когда паника и дым застилали горизонт, а связь между кораблями отсутствовала.

Напротив него, через стол, капитан первого ранга Владимир Иванович Семёнов — худой, с острым носом и воспалёнными глазами, уже открыл рот для ответа. Он, автор нашумевшей трилогии «Расплата», которую ещё при жизни перевели на девять языков, включая японский и немецкий. Сам Семёнов, человек уникальной судьбы, один из немногих, кто прошёл и Порт-Артур, и Цусиму. Он воевал на крейсере «Диана» в Жёлтом море, а после прорыва в Сайгон бежал оттуда, не желая сидеть сложа руки, и записался во Вторую эскадру на флагманский «Князь Суворов». В штабе Рожественского ему отвели странную роль, «пассажира при штабе»,

как он сам горько шутил: офицеры с академическим образованием не нюхали пороха, а он, «нюхавший», писал подневный дневник. Эта привычка, фиксировать всё поминутно, в гуще событий и сделала «Расплату» бесценной. Потому что человеческая память, как он сам заметил, искажает всё уже через неделю, а его записи, это лента событий под огнём.

Семёнов стучит костяшками по столу: «Нам нужна броня, броня и ещё раз броня. Эскадренный броненосец "Александр III" держался, пока палубы не пробило».

Голос у него резкий, скрипучий, как несмазанная петля. Я смотрю на его пальцы, длинные, жёлтые от никотина и понимаю, что этот человек тоже не спал много ночей. В Цусиме Семёнова изранило в обе ноги, контузило, перебросило с тонущего «Суворова» на миноносец «Буйный», потом на «Бедовый», который сдался японцам.

В плену он, истекая кровью, пытался застрелиться, он знал, что как беглый с интернированного корабля ему грозит смерть. Но японский доктор револьвер отобрал, а следователи так и не докопались до тайны его появления во Второй эскадре. Небогатов стряхивает общее наваждение, снова тычет пальцем в карту.

«Так вот, господа, — голос его гремит на всю комнату. — Я это всё к чему? К тому, что если бы у меня в отряде был хоть один корабль со скоростью 21 узел, я бы ушёл. Понимаете? Ушёл бы! Не догнали бы меня эти проклятые крейсера Того, не окружили бы на рассвете. Я бы прорвался во Владивосток, привёл бы туда четыре броненосца, и война бы не кончилась в тот же день!»

Он почти кричит, и в этом крике, не только боль проигранного сражения, но и злость на всех, кто не дал ему этих кораблей вовремя. Колчак, слушавший молча, хмурится. Семёнов, в свою очередь, машет рукой: «Эх, батенька, броня, это не роскошь, а то единственное, что держит корабль на плаву, когда бьют со всех сторон».

Спор разгорается, голоса перекрывают друг друга. Семёнов, вернувшись из плена, попал под суд, по делу о сдаче миноносца «Бедовый». Суд его оправдал, но обида осталась, и он ушёл в отставку капитаном первого ранга, посвятив остаток жизни перу. Его книга «Флот и морское ведомство до Цусимы и после» - крик отчаяния человека, который видел, как послевоенная дума отказывала в кредитах на флот, как строились устаревшие крейсера, в то время как Германия и Англия штамповали дредноуты.

В углу молчит седой механик в потёртом сюртуке. Я замечаю его только сейчас, он сидит на подоконнике, руки сложены на коленях. Этот человек никогда не писал книг и не командовал эскадрами. Он просто чувствовал, каждой клеточкой, как взрывались котлы. Его голос, если он заговорит, прозвучит позже, не здесь, а пока я записываю: скорость 21 узел. Броня 225 мм по поясу. Орудия десять 305-мм в пяти башнях. Водоизмещение в 20 000 тонн. Цифры ложатся на бумагу ровными строчками, но я знаю, что ни один адмирал не ушёл довольным. Слишком разная правда у тех, кто смотрел смерти в глаза. Небогатов замолкает, тяжело дыша. Кто-то подаёт ему стакан воды, тот пьёт жадно, расплёскивая на мундир, и в этой его неловкости, в этой непоказательной для адмирала суете, проступает главное, перед нами не герой и не трус, а просто человек, который однажды принял самое страшное решение в своей жизни, и теперь, глядя на чистые листы нашего опросного листа, он отчаянно хочет, чтобы никому больше не пришлось делать такой выбор. Решение, которое он для себя вынес за эти полтора года: флоту нужны корабли, способные уйти, а Семёнов, сцепив зубы, твердит своё: броня, броня и ещё раз броня. Потому что он своими глазами видел, как «Бородино» держались под градом, пока их не прошивало насквозь и как гибли корабли от первой же щепки, если броня была тонкой.

Я закрываю блокнот, опрос окончен. Единой формулы никто не вывел. Спор о скорости и броне останется с Российским флотом надолго, на десятилетия, на две войны, на гибель и возрождение. Вопрос, который я записал на полях и который уже никогда не задам этим адмиралам, что толку в двадцати одном узле, если некуда бежать? И что толку в толстой броне,

если ты стоишь на месте под обстрелом? Ответа у меня нет, только горький привкус табака на языке и чувство, что история не прощает ошибок. Ни тем, кто строил медленные корабли. Ни тем, кто строил слабо защищённые. Вопрос к тем, кто будет читать эту главу через сто лет, а на чьей стороне были бы вы? У Небогатова, который хотел спасти экипаж, или у Семёнова, который хотел победить?

Кабинет судостроителя

Март 1906-го. Алексей Николаевич Крылов — профессор Морской академии, член Морского технического комитета, человек, которого уже сейчас называют «отцом русской корабельной математики», стоит в эллинге Адмиралтейских верфей. Когда-то здесь строили «Александра II». Теперь пустота, а станки покрыты легкой, ржавчиной, мастера разбежались от отсутствия заказов, и только сквозняк гуляет по этому железному склепу, поднимая с пола мелкую угольную пыль. Я разыскиваю корабельного инженера Гуляева, того самого, который ещё до войны предлагал «сверхстойчивое судно». Он сидит в углу на перевёрнутой шлюпке, с циркулем в руке, и чертит что-то на ватмане, разложенном на коленях.

Внешность у меня, признаться, не адмиральская, сутулый, с вечно взъерошенной шевелюрой, пенсне на носу то и дело сползает. Но за этой неказистостью скрывается ум, который сам Бубнов, главный корабельщик академии, называл «лучшим математическим аппаратом в русском флоте».

«Иван Васильевич, — говорю я, присаживаясь рядом на ящик из-под снарядов. — Покажите вашу идею, ту, про которую вы писали в "Морском сборнике", про наделки у бортов».

Он поднимает голову, глаза у Гуляева, воспалённые, бессонные, с той особой безнадёжной решимостью человека, который знает, что его не услышат, но всё равно говорит. Борода давно не стрижена, воротник рубахи расстёгнут, на пальцах синеют застарелые чернильные пятна. Инженер, а не чинуша, таким и надо просто быть, а не казаться. Гуляев разворачивает ватман и я вижу корпус в форме кита, почти без надводной части, зато с какими-то странными наплывами по бокам.

«Вот, — говорит он, тыча циркулем в эти наделки. — Пять-шесть метров шириной. Внутри расположены продольные и поперечные переборки в шахматном порядке, как пчелиные соты».

Я наклоняюсь ближе, моё пенсне сползает, я поправляю его привычным жестом. Да, я читал его доклад, ещё в 1900-м, когда он рассылал его по различным конгрессам. Тогда я подумал: «Чудак, кому нужны эти наделки, когда главное, скорость и броня?»

Но сейчас, после Цусимы, когда я сам считал остойчивость тонущих броненосцев и видел, как они переворачивались от одного попадания в небронированный борт... сейчас я смотрю иначе.

«У него метацентрическая высота в три метра, — говорит Гуляев, и голос его дрожит. — Не перевернётся даже при пробоине в сорок квадратных футов, а эти отсеки... — он гладит ватман пальцами, как ребёнка по голове. — Они погасят взрыв любой мины, самодвижущейся или заграждения, не важно. Вода заполнит две-три ячейки, и всё, корабль останется на плаву».

Гуляев прав, я это чувствую, но кто его послушает? Я сам член МТК и знаю, как там принимаются решения, ведь адмиралам нужны цифры: скорость, броня, число орудий, а «сверхстойчивость», это не цифра, а просто качество, которое не измерить в узлах и дюймах.

Иван Григорьевич Бубнов, мой друг, сказал бы: «Теория хороша, но где практика? А практика, это двадцать две тысячи тонн водоизмещения, но с наделками Гуляева будет двадцать пять, не меньше, зато идеально устойчивых при любых повреждениях!»

«Иван Васильевич, — говорю я осторожно, стараясь не ранить его своим тоном. — Где у вас артиллерия?»

Он хмурится, берёт другой лист, испещрённый расчётами, и я замечаю, что почерк у него мелкий, въедливый, как у человека, привыкшего к точности.

«Башни расположены по бортам, — говорит он. — Четыре двухорудийные. Всего восемь стволов».

Всего восемь! Я вздыхаю, и этот вздох вырывается из самой глубины моей усталости.

«Иван Васильевич, — говорю я как можно мягче, — у "Дредноута" — десять, у немцев в проекте дюжина! Мы уже отстаём, а вы предлагаете лишь восемь».

Гуляев стучит кулаком по ватману так, что чернила разбрызгиваются.

«Отстаём? — кричит он. — В живучести мы отстаём на десятилетия! Вы, Алексей Николаевич, математик, вы считали остойчивость "Бородино"? Я считал, и знаете, что получилось? Они были обречены. Ещё до выхода из Либавы. Потому что любая пробоина выше ватерлинии и возникает крен, который нельзя выровнять, а мои наделки...»

Он замолкает, машет рукой и отворачивается, я смотрю на его спину, сутулую, в потёртом сюртуке, и понимаю, что он сейчас плачет, от бессилия, от того, что прав, но никому эта правда не нужна.

«Если бы у "Александра III" были мои наделки, — говорит он тихо, не оборачиваясь. — Он бы дополз до Владивостока, а "Бородино" не взорвался бы, и вы это знаете».

Я молчу, потому что он прав, я считал, и я знаю. Выхожу от Гуляева с тяжёлым сердцем, иду в соседний цех, там работает Свирский, ещё один чудак, предлагавший «уширенный корпус». Молодой, гладко выбритый, в чистом сюртуке, пахнущем лавандой. Внешность его, полная противоположность Гуляеву. Он встречает меня у порога с победоносным видом фокусника, достающего кролика из шляпы.

«Алексей Николаевич! — восклицает он. — А я вас заждался!»

Разворачивает чертёж, его корпус почти прямоугольник. Скулы развалены так широко, что кажется, будто корабль вот-вот перевернётся от собственной тяжести. Но Свирский клянётся, божится, стучит себя в грудь, что остойчивость фантастическая.

«Пятнадцать узлов, — говорит он гордо. — Зато не утонет никогда, даже если все переборки снесёт».

Я смотрю на него, потом мысленно возвращаюсь к Гуляеву. Один предлагает скорость двадцать узлов и восемь орудий. Второй лишь пятнадцать узлов и фантастическую живучесть, а немцы строят дредноуты с дюжиной стволов и двадцать одним узлом. Мы не догоним их ни по первому, ни по второму пути.

Обе идеи гениальны, но обе бесполезны, потому что флоту нужен дредноут. Быстрый, сильный, способный догнать и уничтожить, а плавучие крепости, это для обороны, для сидения в гаванях. Мы не для того возрождаем флот, чтобы прятать его за надолбами.

Решение я принимаю прямо там, в эллинге, под сквозняком и ржавым шелестом, иду к телефону, он висит на стене у выхода, чёрная воронка с медной трубкой, кручу ручку, звоню в МТК.

«Проекты Гуляева и Свирского отклонить, — говорю я в трубку, стараясь, чтобы голос звучал твёрдо. — За непригодностью».

Гуляев обидится. Свирский обидится. Я поеду писать рапорт, формальную бумагу с грифом «Секретно», где сухим казённым языком объясню, почему их идеи не годятся для нового флота. Всю дорогу в пролётке, под мерный перестук копыт по булыжной мостовой, я думал об одном. Гуляев предложил противоминную защиту — первым в мире. Идею, которая через десять лет станет обязательной для всех линкоров. Но кто тогда, в 1906-м, готов был её слушать? Кому было дело до живучести, когда на кону стояло само существование флота?

Иван Григорьевич Бубнов — мой друг и единомышленник, потом скажет: «Ты поступил правильно, Крылов. Нельзя строить корабли будущего на идеях вчерашнего дня».

Но я до сих пор не уверен. Вопрос, который я так и не задал Гуляеву: сколько ещё будут тонуть корабли, потому что их конструкторы опередили время? И когда мы наконец научимся строить не только быстро и сильно, но и надёжно?

Зал заседаний Морского технического комитета

Апрель 1906-го. Я, вице-адмирал Алексей Алексеевич Бирилёв, член Государственного совета, бывший командующий эскадрой Тихого океана, открываю заседание «Особого совещания». Двадцать человек за столом: адмиралы, инженеры, артиллеристы. Старые волки, нюхавшие порох. Я помню парусный флот, помню Синоп, помню, как уходили на дно броненосцы в Цусиме, и я не хочу, чтобы это повторилось.

«Господа, — говорю я, и голос мой гремит под высокими сводами. — Программы нет, будем исходить из собственных соображений».

В зале тишина. Собственные соображения, это когда каждый тянет одеяло на себя. Артиллеристы хотят пятнадцать дюймов. Механики желают установить на новый корабль турбины, несмотря на их массу и ненадёжность. Корабелы толстый броневой пояс в двенадцать дюймов. Я смотрю на них и вижу, что они спорят о железе, а совершенно забыли о людях и как их требования будут размещены в допустимом водоизмещении.

Сбоку, у стены, сидит молодой капитан — командир броненосца «Орёл», единственного уцелевшего из проекта «Бородино», кто вернулся из Цусимы не со дна, а из плена. Его зовут Николай Юнг. Он прошёл ад. Он видел, как «Суворов» горел, как «Александр III» лёг на борт, как «Бородино» взлетел на воздух и теперь он молчит. Потому что слова кончились. Осталась только сталь и желание построить такие корабли, которые не будут тонуть.

Я даю слово капитану Блохину, тому самому, что заменил командира на броненосном крейсере в бою против нескольких японцев:

«Господа, — говорит он, и голос его срывается. — На «Дмитрии Донском» мы держались пять часов против шести крейсеров. Держались, пока палубы не пробило, а потом... потом пришёл приказ затопить корабль, чтобы он не достался врагу».

Он замолкает, достаёт платок, вытирает пот со лба.

«Я не хочу больше топить свои корабли. Я хочу топить чужие. Для этого нужны орудия. Десять дюймов мало, давайте двенадцать, а лучше, четырнадцать».

Я слушаю и понимаю, что Блохин прав, но у нас нет заводов, которые сделают четырнадцатидюймовки. У нас есть Обуховский — один из лучших в мире, но он не резиновый. Десять 305-мм в год, это максимум, на что мы можем рассчитывать в ближайшие три года. Англичане уже закладывают «Дредноуты» с десятью стволами. Мы не можем отстать.

Дилемма, которая мучит меня всю ночь перед заседанием, проста до отчаяния. Хотим мы двенадцать дюймов? Хотим. Можем? Нет, а если скажем «нет», то нас сметут и скажут, что Бирилёв — враг прогресса, не верит в русскую промышленность, а я верю. Но я знаю и цену этой веры. «Александр II» строился восемь лет. «Сисой Великий» — шесть, а «Дредноут» англичане построили за один год и один день.

Слово берёт корабельный инженер Шотт — главный строитель Балтийского завода, человек, который помнит ещё клёпку корпусов для парусных, броненосных фрегатов. Он подходит к карте, висящей на стене, и тычет указкой в схему бронирования.

«Господа, — говорит он. — Пояс в двенадцать дюймов, это четыреста пятьдесят фунтов на квадратный фут. На длину сто двадцать метров, семь тысяч тонн. Плюс траверзы, палубы, башни, барбетты. Итого в двенадцать тысяч тонн только на броню, а общее водоизмещение корабля составит двадцать тысяч. Куда мы денем турбины, котлы, уголь, орудия, команду?»

В зале тишина, все понимают, что он прав, весовая дисциплина неумолима. Двенадцать дюймов пояса, это приговор проекту. Корабль не всплывёт или будет идти со скоростью шестнадцать узлов, как броненосцы времён Александра II.

Я смотрю на Николая Юнга. Он сидит, сцепив пальцы в замок, и молчит. Я знаю, о чём он думает. На «Орле» броневой пояс был девять дюймов. Японские снаряды пробивали его с двадцати кабельтовых, но если мы поставим двенадцать, то пробивать будут с тридцати. Разница невелика, а цена в три тысячи тонн лишнего веса.

Решение Шяотта жёсткое, как броня, которую он предлагает: «Девять дюймов — главный пояс и два дюйма верхний, никаких компромиссов, мы построим корабль, который будет бодро ходить по волнам, а не ползать по морю».

Я киваю, скрипя сердцем, но киваю, потому что лучше девять дюймов, которые есть, чем двенадцать, которых нет.

К концу дня мы принимаем решение. Водоизмещение нового дредноута должно составить чуть более двадцати тысяч тонн. Скорость, не менее двадцати узлов. Броневой пояс девять дюймов, верхний в два, защищающий от осколков. Палубы три дюйма общей толщины. Вооружение в десять 305-мм в пяти башнях. Турбины да, дизели нет. Высота надводного борта в пятнадцать футов, чтобы не заливало при волнении.

Я подписываю протокол и смотрю в окно, за Невой виднеются верфи. Там через три года заложат «Севастополь», ещё через пять, он выйдет в море. Мальчишки, которые сейчас играют в кегли в Морском корпусе, будут на нём служить. Я не хочу, чтобы они тонули. Не хочу, чтобы их матери получали похоронки. Не хочу, чтобы через двадцать лет какой-нибудь адмирал снова стоял у этого стола и говорил: «Флота нет».

После заседания ко мне подходит Юнг и тихо говорит: «Алексей Алексеевич, вы знаете, что я видел в Цусиме? Я видел, как мальчишки: гардемарины, выпускники этого года, стояли у орудий, когда вокруг всё горело. Они не бежали, а заряжали и стреляли, пока не взорвались».

Он замолкает, потом добавляет: «Мы не имеем права строить плохие корабли. Мы обязаны дать им шанс, не на победу, а на жизнь».

Я кладу руку ему на плечо. «Всё будет, Николай Николаевич. Будут корабли. Будут мальчишки. Будут победы, а тех, кто ушёл на дно, мы помянем, но не сейчас. Сейчас мы работаем ради этого».

Вопрос, который я так и не задал себе в тот вечер: "Сколько ещё мальчишек уйдёт на дно, прежде чем мы научимся строить корабли правильно? И хватит ли у нас времени, чтобы это исправить?"

Ответа у меня нет, есть только протокол заседания, подписанный двадцатью адмиралами и четыре корпуса, которые через пять лет встанут в строй. Дай бог, чтобы не последние.

Чай у Бубнова

— Чай, Алексей Николаевич? — Бубнов отодвигает стопку чертежей и пододвигает мне стакан в подстаканнике с выцветшим вензелем. — Я без варенья, а ты как?

— Без, Иван Григорьевич, терпеть не могу эту сладость после того, как на «Петропавловске» нас кормили одним вареньем третью неделю. — Сажусь напротив, поправляю пенсне. — Давай лучше к делу, а именно, поговорим про орудия.

Бубнов хмурится, сорок пять лет, а уже совсем седой, семь бессонных ночей перед сдачей расчётов сделали своё дело, это его больная тема. Он считал корпуса, он отвечал за остойчивость, а пушки не его епархия.

— Знаешь, что мне сказал Бринк на прошлой неделе? — крутит в руках карандаш, ломает грифель. — Иван Григорьевич, стволы будут выгорать, смиритесь с этим?

Я смотрю на него: «И ты смирился?»

— А что мне оставалось? — бросает карандаш, встаёт, подходит к карте. — Я корабел, не металлург. Бринк отвечает за пушки, он и пусть крутится.

Спор этот тянулся полгода. Бринк требовал увеличить диаметр барбетов под новые орудия, Бубнов упирался, не влезут, водоизмещение вырастет, остойчивость упадёт. Оба были одновременно, правы и нет.

— Слушай, — говорю, отхлёбывая чай, — а если не увеличивать барбетов? Что тогда?

Бубнов разворачивает чертёж общего расположения, тычет пальцем в схему носовой башни: «Тогда снаряды будут подавать под углом. Механизмы заклинит после третьего залпа».

— Бринк клянётся, что его затвор выдержит, даже демонстрацию делал на полигоне.

— Затвор выдержит, а подача? А элеваторы? Это не Англия, Алексей Николаевич, у нас заводы другие и люди другие.

Я молчу. Потому что он прав. Обуховский завод — лучший в стране, но его станки помнят ещё Александра Второго, новые обещали, да где они?

— Ладно, — Бубнов машет рукой. — Пусть ставят свои 52 калибра, моё дело корпус, потом не пеняйте.

Вопрос повисает в воздухе, так и не заданный: а что будет с этими орудиями через двести выстрелов? Бубнов его не задаёт, я тем более, оба боимся ответа.

Дредноутная лихорадка

Неожиданное известие

Зимнее утро 1907 года, Петербург, набережная Невы. Капитан второго ранга Александр Васильевич Колчак, высокий, сутулый, с бледным лицом полярного исследователя и глазами, которые смотрят так, будто видят сквозь стены, переступает порог оперативного отдела МГШ. Мундир сидит на нём мешковато, три года полярных экспедиций не прошли даром, плечи привыкли к меховой парке, а не к адмиральскому шитью. В руках пачка английских газет, ещё пахнувших типографской краской и солёным ветром.

«Дредноут» принят в строй, — говорит он, не здороваясь. — Двадцать два узла на испытаниях. Турбины. Десять 305-мм орудий в пяти башнях. Наши уцелевшие броненосцы, впрочем, как и корабли других стран, отныне все железный лом».

Он бросает газеты на стол начальника штаба, и те разлетаются веером. На первой полосе The Times — снимок исполина в Портсмуте. Корпус его залит солнцем, и от этого чёрно-белого сияния становится тошно.

Месяцами артиллеристы твердили: "Нужны корабли с единым калибром, нужны башни, нужны 305-мм пушки с длиной ствола в пятьдесят калибров".

Корабелы возражали: "Не потянем, не построим, заводы подведут", а тут газеты, которые кричат: "Англия заложила ещё три дредноута. Германия четыре". И турбины, эти проклятые турбины, которые никто в России ещё не ставил на крупные корабли.

Колчак стучит кулаком по столу, тихо, но весомо: «Если мы не начнём проектировать сейчас, через пять лет у Балтики не будет флота. Немцы просто раздавят нас числом».

Поражение приходит не от немцев, а от собственного тыла. Начальник штаба, старый адмирал с бакенбардами до середины щеки, качает головой: «Турбины? Голубчик, а кто их сделает? У нас нет турбинного завода, нет денег на новый турбинный завод, у нас даже уголь грузят тачками вручную, а вы турбины!»

Колчак молчит, его пальцы длинные, тонкие, как у пианиста, они дрожат. Не от страха, а от бешенства. Он знает, что прав, знает, что они проигрывают время и никто, кроме него, этого не понимает.

Начальник штаба, седой, грузный, в сюртуке с орденами до пупа, медленно перебирает английские страницы. Он служил ещё при адмирале Грейге, помнит паруса и бомбардирские корабли. Теперь ему семьдесят два, и каждое утро начинается с капель для сердца.

«Александр Васильевич, — говорит он, не поднимая глаз, — вы считаете, я не понимаю? Понимаю, но посмотрите на цифры».

Он тычет пальцем в колонку: «Дредноут» обошёлся англичанам в один миллион и восемьсот тысяч фунтов, это почти полтора наших линкора «Бородино», а у нас дыра в казне.

Дилемма встаёт ребром, как броневая плита, первое требуется строить дредноуты немедленно, даже без турбин, даже с поршневыми машинами, но строить. Второе, это ждать, накапливать деньги, ремонтировать заводы и через пять лет получить корабли, которые уже устареют. Третье, негласное, вообще ничего не строить, надеяться на подводные лодки и минные заграждения. Колчак не верит в третье.

«Подводные лодки это оборона, — говорит он. — А флот, это наступление, без нашего наступления мы не удержим Балтику».

Решение откладывается на неопределённый срок. Начальник штаба вздыхает и откладывает газету: «Доложу министру, а вы, Александр Васильевич, напишите записку, подробно, с расчётами».

Колчак кивает, но, он уже не надеется. Записка ляжет в папку. Папка в сейф. Сейф откроют через полгода, когда немцы заложат ещё два дредноута и так будет всегда.

Обуховский завод

Февральская позёмка мела над Обуховским сталелитейным заводом, превращая невскую воду в свинцовое крошево, а лица рабочих в запекшиеся маски. В промзоне, где даже снег казался серым от сажи, грохотало, лязгало и стонало железо, перемалывая человеческие судьбы. Капитан первого ранга Александр Васильевич Колчак, кутая в шинель с бобровым воротником, переступил порог пушечного цеха, и его тотчас оглушил рев мартеновских печей. Здесь, в адовой кузнице, рождалось будущее русского флота, и каждый удар молота по раскаленной болванке отдавался в висках моряка набатом грядущей войны.

Сквозь марево каленого воздуха пробивался к нему главный инженер Глотов — мужик сибирской кости, в фартуаре, прожженном докрасна, словно он сам только что выковыривался из тигля. Лицо его было измазано сажей вперемешку с потом, и оттого походило на карту неведомых угольных копей, а глаза белели неестественно ярко на этом черном фоне. Он говорил негромко, но перекрывал грохот привычкой, выработанной за двадцать лет у мартенов, и каждое его слово весило больше заводского молота. Колчак глядел, как из печи вываливается ослепительная струя металла, и думал о том, что вот этот огненный поток должен облечься в сталь, способную послать четыреста семьдесят килограммов чугуна и взрывчатки на двадцать девять верст.

Глотов ткнул мозолистым пальцем в сторону станка для нарезки оружейных стволов, агрегата германской фирмы Шисса, который горделиво высился среди древних обшарпанных агрегатов.

"Пятьдесят два калибра можем делать, ваше высокоблагородие, — сказал он, и голос его звучал ровно, без хвастовства. — Это наш предел, выше не поднять, и то станок один на весь завод, работает в две смены до изнеможения".

Но тотчас инженер развел руками, и этот жест был красноречивее любых докладов, ибо в нем читалось бессилие человека, упирающегося лбом в казенную стену. Десять стволов в год — вот потолок для новой пятидесятидвухкалиберной нарезки, а флоту требуется сорок, ибо каждый из четырех дредноутов типа "Севастополь" должен нести по двенадцать трехсотмиллиметровых чудовищ в четырех трехорудийных башнях.

"А что же сорок калибров, старые?" — переспросил Колчак, и голос его прозвучал резче, чем он хотел, ибо от этого выбора зависела не просто цифра, а судьба всех русских дредноутов.

Глотов почесал затылок, сдвинув на затылок картуз, и сказал просто, как о чем-то обыденном: сорок калибров на старых станках Круппа точили исправно, но нынешние морские требования, не игрушки, там каждый дюйм ствола решает, долетит ли снаряд до врага раньше, чем вражеский, до тебя. Станок для пятьдесят второго калибра один, работает в две смены, а больше взять негде, потому что подобных агрегатов во всей Российской империи — единицы. Переоборудование цеха под новую технологию потянет на миллион триста тысяч, а дополнительный гидравлический станок обойдется еще в полтора миллиона золотом.

Колчак стоял, глядя в огненную бездну мартеновской печи, где металл клочкотал и переливался, словно расплавленное солнце, но не видел выхода из этого заколдованного круга. Старое орудие образца 1895 года, сорок калибров длиной, бросало снаряд весом в триста тридцать один килограмм с начальной скоростью всего семьсот два фута в секунду. Новая же пушка, пятьдесят два калибра, оперилась снарядом в четыреста семьдесят килограмм, тяжелее

на сто сорок пудов, и разгоняла его до семисот шестидесяти двух метров в секунду. Разница в дульной энергии была колоссальной: старая пушка давала около девяноста тоннометров, новая, все сто сорок, и это означало, что русский снаряд пробьет любую броню, какую только могли выставить германские инженеры.

Он стиснул зубы, чувствуя, как желваки заходили под скулами, ибо привык повелевать морем, но не привык просить и уступать, а Глотов, видя его муку, осторожно предложил компромисс, двадцать стволов нового пятьдесят второго калибра, а остальное, извините, по старым чертежам, сорок калибров, как делали еще при адмирале Попове.

"Но старые — это сорок калибров, Глотов, — возразил Колчак, и голос его задрожал от сдерживаемого гнева. — У немцев их знаменитая 30.5 cm SK L/50 — пятьдесят калибров, у англичан двенадцатидюймовка Mark XI — тоже пятьдесят".

Снаряд из сорокакалиберной пушки будет лететь медленнее на сто двадцать футов в секунду, а на войне, вы должны понимать, это не просто цифры, это четыре кабельтова разницы в дистанции эффективного огня.

Он подошел к свежему отливу, еще хранящему тепло печи, и провел перчаткой по шершавой поверхности, ощущая кожей грубую мощь металла.

"Сто двадцать футов в секунду, — повторил он, словно пробуя слово на вкус, — а ведь в бою каждая лишняя секунда полета снаряда — это время для вражеского маневра, для уклонения, для ответного залпа".

Нет, он не мог согласиться на эту жалкую подачку, на этот суррогат, который делал бы русские дредноуты заведомо слабее германских килек. Новая пушка, 12"/52, имела дальность стрельбы двадцать девять тысяч триста сорок метров, тогда как старая сорокакалиберная едва дотягивала до двадцати одной тысячи, и если башни новых кораблей, разработанные Металлическим заводом, имели углы возвышения до двадцати пяти градусов, то старые установки не поднимали ствол выше пятнадцати.

Глотов молчал, отвернувшись к горну, и в этом молчании было больше укора, чем в самых громких речах. Что он мог сказать капитану? Он не кабинетный стратег, не министр с портфелем, набитым деньгами, и не царедворец, привыкший ловчить между докладами. Глотов знал, что новая пушка весит пятьдесят тысяч шестьсот килограммов с затвором, что почти на пятнадцать тонн больше старой, и это требовало усиления всей башенной конструкции. Он знал, что наводка новых орудий осуществлялась гидравлическими приводами с вертикальной скоростью четыре градуса в секунду и горизонтальной, три и две десятых, тогда как старые механизмы едва выдавали половину. Но он также знал, что для всех сорока стволов нужно шестьсот тонн специальной никелевой стали, а варить ее негде и нечем.

Колчак накинул на плечи шинель и вышел из цеха в звенящий февральский мороз, где воздух казался жидким стеклом, разбивающимся о легкие с хрустом. Запах гари и окалины вдруг сменился остротой свежего ветра с Невы, и он глубоко вздохнул, чувствуя, как леденит ноздри. Руки его, привыкшие к штурвалу и секстанту, мелко дрожали, и он понял, что это не от стужи, в тридцатиградусный мороз он не дрожал никогда, даже в полярных экспедициях. То была злость, глухая и бессильная, от которой деревенели пальцы и путались мысли, ибо он, Колчак, привык побеждать обстоятельства, а не кланяться им. Он знал, что если русские дредноуты получают старые сорокакалиберные пушки, то их бронебойный снаряд при встрече с германским кораблем не пробьет главного пояса, тогда как немецкий снаряд прошьет русскую броню насквозь.

Он закурил, чиркнув спичкой, и пламя на миг осветило его осунувшееся лицо с глубокими складками у губ, морщинами человека, слишком много видевшего. Табак горчил на языке, но не мог перебить тот горький привкус бессилия, что остался в горле после разговора с Глотовым. Он смотрел на дымок, уносимый ветром к серым корпусам строящихся дредноутов, и думал о том, что эти исполины водоизмещением двадцать три тысячи тонн могут родиться

на свет калеками. За спиной у него грохотал завод, живущий своей могучей и страшной жизнью, но там, в цеху, ему отказали в главном — в праве требовать совершенства. Станки Шисса работали на пределе, вытачивая внутреннюю поверхность ствола с точностью до одной тысячной дюйма, но времени и сил катастрофически не хватало.

"Боже мой, — прошептал он одними губами, не выпуская папиросы, — неужели мы так и не научились делать то, что делают эти проклятые немцы?"

Он знал, что германская 30.5 cm SK L/50 при той же длине ствола давала начальную скорость восемьсот пятнадцать метров в секунду за счет более совершенного пороха и более плотной нарезки. Русская же 12"/52 при снаряде в четыреста семьдесят килограммов давала всего семьсот шестьдесят два метра, но и это было на шестьдесят метров больше старой сорокакалиберной. Быть может, в том и заключалась главная трагедия его родины, в вечном компромиссе между тем, что возможно сделать в теории, и тем, что можно изготовить в реальности и эта реальность звалась Обуховским заводом, где умели делать все, но не все и не столько, сколько требовала империя.

Мороз крепчал, и Колчак запахнул шинель, чувствуя, как стынут под холодным небом его мечты о могучем флоте. Он знал, что у Глотова есть правда, тяжелая и неуклюжая, как болванка для проката, и оттого спорить с инженером было все равно что спорить с самой русской действительностью, а эта действительность показывала ему сейчас лишь одно: либо он берет двадцать стволов новых и двадцать старых, либо флот вообще остается без орудий, и дредноуты будут стоять у стенки как бесполезные громады и впервые в жизни Александру Васильевичу захотелось просто выругаться, долго, витиевато, по-матросски, чтобы сбросить с души этот свинцовый груз. Он вспомнил, что на старых сорокакалиберных орудиях применялся поршневой затвор образца 1895 года, медленный и ненадежный, дававший не более полутора выстрелов в минуту, тогда как новый затвор позволял делать два-три выстрела.

Мысль о том, что четыре русских дредноута выйдут в море с разнокалиберными орудиями, была для него невыносимее любой морской качки. Разница в начальной скорости ста пятидесяти футов в секунду означала, что при стрельбе на двадцать кабельтовых старые снаряды лягут на сто двадцать метров ближе, и корректировать огонь двух башен с разной баллистикой будет сущим кошмаром. Он вспомнил Цусиму, вспомнил, как горели корабли в узком проливе, и понял, что нынешняя экономия на орудиях стоит стране не меньших жертв. Ибо судьбу морского боя решают секунды, а разница в начальной скорости в сто двадцать футов, это время, за которое вражеский снаряд пролетит лишние пять кабельтовых и попадет раньше, чем твой. Старая пушка была хороша для эскадренных броненосцев прошлого века, но для дредноутов нового времени она была хуже бесполезности, она была ловушкой, смертельной для экипажа.

"Придется ехать в Петербург, — решил он наконец, стряхивая пепел с рукава, — к адмиралам, к министрам, в Государственную думу, черт бы их всех побрал".

Он знал, что чиновный Петербург не любит таких как он, резких, несговорчивых, помешанных на баллистике и дальности стрельбы. Но он также знал, что если он не добьется денег на расширение производства, то его флот, его детище, его надежда превратится в плавучие гробы. Один дополнительный станок Шисса, три смены квалифицированных мастеров, особая печь под никелевую сталь для получения ствола двенадцатидюймового калибра длиной в пятнадцать метров восемьсот пятьдесят миллиметров, вот что было нужно. Без этого Обуховский завод мог давать не более десяти орудий в год, а весь заказ на сто девяносто восемь пушек Морское ведомство рассчитывало получить только к 1918 году.

Проходя мимо заводской конторы, он мельком увидел в заиндевавшем окне портрет государя и на миг задержался, чувствуя, как в груди теплеет от одной лишь мысли о Верховном Владыке. Но государь был далеко, в Царском Селе, окруженный царедворцами и докладными записками, а здесь, у Обуховского горна, все решали простые, грубые, жестокие цифры. Кол-

чак стиснул кулаки и двинулся к выходу, оставляя за спиной гул завода, который, казалось, навсегда въелся в его душу окалиной. Он знал теперь твердо: либо Обуховка получит заказ на все сорок стволов пятьдесят второго калибра, либо русский флот навсегда останется позади германского, ибо немецкий снаряд весом в четыреста пятьдесят килограммов при начальной скорости восемьсот метров прошьет любую защиту и тогда все четыре дредноута типа "Севастополь" с их башнями МК-3-12, вращающимися частями весом в триста двенадцать тонн, станут не гордостью империи, а ее позором.

На проходной его окликнул Глотов, выбежавший на мороз в одном своем рваном фартуке, и крикнул хрипло: "Ваше высокоблагородие, если что, мы для Российской империи постараемся, хоть три смены введем, хоть из кожи вон вылезем".

Колчак обернулся, и в глазах его на миг мелькнула та усталая благодарность, которую не выразить словами. Он молча кивнул инженеру, ибо знал, что этот матерый волк в фартуге и сам бы сделал больше, если б мог. Но сделать больше нельзя было, станок Шисса давал точность нарезки, которую не могли повторить никакие русские умельцы, а мастера, разбежавшиеся после девятого года, не вернулись и не вернуться. Сорок стволов нового образца требовали не просто железа, они требовали времени, а время работало против России, против флота, против самого Колчака.

Садясь в пролетку, он посмотрел на дымный горизонт, где угадывались остовы будущих дредноутов, и подумал о том, что история не простит ему компромисса. Он уехал, оставив за спиной февральскую метель, которая заметала следы и мысли о несделанном, и лишь в ушах его долго еще звучал неумолчный грохот обуховской стали, а в цеху уже готовили новую плавку, не ведая, что судьба империи решается сейчас не на стапелях, а в кабинетах министров, где деньги считают иначе, чем пуды и калибры. Колчак знал одно: старая сорокакалиберная пушка образца 1895 года, хорошая для броненосцев типа "Андрей Первозванный", не имеет места на дредноутах двадцатого века, и если он не добьется правды сегодня, то завтра ее не добьется никто. Лошади мчали его сквозь снежную пелену к Петербургу, к адмиралам, к чиновникам, к той самой русской власти, что вечно опаздывала с решениями и расплачивалась за это кровью.

Цусима, которой не было

Петербург, февраль 1907 года, квартира Колчака на Большой Зелениной. За окном метёт, в комнате натоплено до скрипа половиц. Скворцов — грузный, с потёртыми локтями и вечно мокрым от пота воротничком, топчется в прихожей, стряхивая снег с каракулевой шапки.

«Александр Васильевич, — говорит он, — извините за поздний визит. Я тут на досуге подумал что если б наш «Севастополь» успели к той самой битве, ну, ты понял».

Колчак, бледный, с запавшими щеками, усмехается: «К Цусиме, Дмитрий Васильевич, к Цусиме. Проходите, чай холодный, но водка есть».

Цель у них простая, убить вечер, забыть о докладах, о комитетах, о том, что флота больше нет и заодно, поиграть в игру, которую оба любят с детства. В морской бой, но не в детский, а в настоящий, с картами, чертежами, фигурками, которые Скворцов вырезал из картона и раскрасил тушью. Конфликт внутри каждого из них, между «надо работать» и «плевать на всё».

Колчак разливает водку по гранёным стаканам, ёмкость, хлещет, не закусывая.

«Давай, — говорит хрипло. — Ставь свои кораблики, посмотрим, чего ты там начертил».

Кульминация этого вечера ещё впереди, но она уже тенью лежит на их лицах. Скворцов расстилает на столе самодельную карту: Японское море, пролив, вычерченный от руки, с промерами глубин и течениями. Колчак смотрит и качает головой.

«Вы бы видели, Дмитрий Васильевич, как это место выглядит на самом деле. Ветра. Волны. Туманы и эта обречённость».

Александр Васильевич наливает ещё, руки пока не дрожат. Он отодвигает стакан и проводит пальцем по карте, от Корейского пролива до острова Цусима.

«Тут, — говорит тихо, — их броненосцы стояли в ночь перед боем: "Микаса", "Сикисима", "Фудзи", "Асахи", все четыре, плюс броненосные крейсера, в количестве восьми единиц. Двенадцать вымпелов против наших одиннадцати, но у них скорость на три узла выше, артиллерия точнее».

Скворцов слушает, не перебивая. Он знает, всё знает, но перебивать неловко. Дилемма, которую они оба переживают молча, как можно было воевать на таких условиях? Почему эскадру не отозвали? Почему не пошли вокруг Японии?

Колчак отвечает сам себе, горько, сквозь зубы: «Не ждали, потому что не верили, что бой будет. Потому что строили долго, воровали много, а если б...»

Он замолкает, ведь решение приходит мгновенно, гипотетическое, невозможное, но такое сладкое: «Если б новый дредноут "Севастополь" был там, мы бы выиграли, я не знаю как, но выиграли бы».

Скворцов молча ставит на карту фигурку, пузатую, с пятью башнями, которые он вырезал особенно тщательно: «Вот он, 22 000 тонн, 21 узел. Десять 305-мм орудий. От восьми до дюжины снарядов в минуту. Броневой пояс в 225 мм, паротурбинная установка, не догонит, а перегонит любой крейсер неприятеля».

Колчак смотрит на картонную игрушку и вдруг по-настоящему улыбается, впервые за полгода.

Скворцов расставляет фигурки кораблей на карте. Русская эскадра, это длинная кильватерная колонна, от «Князя Суворова» до «Адмирала Ушакова». Дредноут «Севастополь» идет чуть левее, не в строю, а отдельно, как летучий отряд.

«Зачем?» — спрашивает Колчак.

«А затем, — отвечает Скворцов с азартом, — что у него скорость 21 узел, он может то, чего не могут другие. Может выскочить из-за спины колонны, зайти в хвост японцам и»

Скворцов чертит пальцем дугу, длинную, дерзкую, ставит японцам обратное, кроссинг-Т.

Колчак морщится: «Того не дурак, у него броненосные крейсера в авангарде — "Асама", "Якумо", "Адзума", они "Севастополь" зажмут с двух сторон и расстреляют».

Скворцов стучит кулаком по столу: «А вот и нет! У него пояс 225 мм, а у "Асамы" 178 мм и орудия 203 мм против наших 305 мм, он их сам расстреляет!»

Спор идёт на повышенных тонах, но без злобы, только усталая страсть инженеров, которым никогда не дали построить то, что они считали правильным.

Колчак берёт фигурку японского флагмана — «Микасу», и ставит её прямо на пути «Севастополя».

«А вот если он из-за поворота выйдет? У них броня серьёзная, Крупп, 230 мм, наши снаряды дрянь, пироксилин не рвётся, так как намок, а у них шимоза, она горит, как чёрт, и дыма от нее удушливого море».

Скворцов молчит, потому что знает, это правда их мечта разбивается не о японскую сталь, а о российский пироксилин и казнокрадство.

Колчак перебирает фигурки в руках. Он вертит картонного «Севастополя» и улыбается, невесело, одними глазами: «Знаете, Дмитрий Васильевич, какой самый страшный звук в Цусиме? Не взрывы и не крики, а тишина. Когда на Александре III замолчали орудия, одну башню заклинило, вторую разбило и матросы завывали. Потому что стрелять больше было нечем, а японцы били и били».

Он ставит фигурку на карту, туда, где в реальности погиб «Бородино»: «Если б у них был Севастополь с его десятью стволами может, они б продержались дольше».

Никто из них не был в Цусиме, но оба перечитали все рапорты, все показания, все свидетельства. Сковорцов тихо говорит: «А знаете, Александр Васильевич, если б мы построили Севастополь на пять лет раньше его бы не пустили в бой, побоялись. Поставили в резерв, как Андрея Первозванного».

Колчак кивает: «И это самое обидное, что лучшие корабли стоят в гаванях, потому что начальство боится их потерять, а теряет старьё, которое ещё могло бы послужить».

Колчак наклоняется над картой, и Сковорцов видит, как его палец дрожит над фигуркой русского дредноута.

«Ну давай, — шепчет он. — Давай, родимый, покажи им, где раки зимуют».

Сковорцов сдвигает «Севастополь» влево, выводя его из кильватерной колонны русской эскадры. Теперь корабль идёт параллельно японцам, но на контркурсе, нос к носу. Скорость в полные 21 узел, машинное отделение работает без перебоев, турбины воют на максимальных оборотах.

Колчак прикидывает по линейке, дистанция до головного «Микасы» целых 65 кабельтовых. Японцы замечают манёвр, но сделать ничего не могут. Адмирал Того приказывает броненосным крейсерам «Асама» и «Якумо» отвернуть и перехватить русского нахала. Но разворот занимает время, целых десять минут, за которые «Севастополь» проходит почти четыре мили.

Сковорцов усмехается: «Поздно, адмирал, поезд ушёл». Дредноут проскакивает острие японского авангарда, и теперь он уже не перед ними, а между ними и броненосцами.

Колчак хватается за карандаш и начинает чертить схему боя: «Смотри, Дмитрий Васильевич. Он выходит вот сюда, в левый сектор, где у японцев всего два броненосных крейсера, и те уже прошли, а за ними голые транспорты и только потом броненосцы. Чистое небо для атаки».

Сковорцов кивает, его широкая ладонь накрывает фигурки японских крейсеров, словно сметая их с доски: «Им бы сейчас иметь свой Дредноут, но у них его нет и не будет ещё три года».

Того, видя, что «Севастополь» проскочил его крейсерский заслон, принимает единственно возможное решение. Он приказывает броненосцам повернуть «все вдруг», на шестнадцать румбов, почти на 180 градусов.

Колчак свистит: «Это же самоубийство, они развернутся, но пока поворачивают, их носы смотрят на нас, а кормы на Севастополь, и те, и другие не могут стрелять нормально».

Сковорцов ставит фигурки японских броненосцев на попа, они теперь идут в обратном направлении, но рассыпавшись, потеряв строй, а «Севастополь» уже в их хвосте. Он заходит с правого борта, где у «Микасы», «Сикисимы», «Фудзи» и «Асахи» самые слабые места, а именно, кормовые башни. У каждого броненосца, по две 305-мм пушки в корме, и то не у всех. «Фудзи» вообще имеет только одно орудие в задней башне. Четыре японских корабля против одного русского, но русский бьёт десятью стволами, а японцы в ответ лишь восемью, из которых половина на разных кораблях. Сковорцов прикидывает огневую мощь: 10 против 8, но с учётом углов обстрела 10 против 5 или 6.

Колчак чертит углы на карте: «Смотри, "Микаса" и "Сикисима" могут стрелять только из кормовых башен, "Фудзи" свою кормовую с одним орудием, а "Асахи" тоже два 12-дм орудия, но из них реально стреляют в "Севастополь", только три или четыре, потому что кормовые башни у них не повёрнуты, их надо наводить, а время на это требуется десятки секунд».

Сковорцов улыбается: «А у нас работают все десять и дистанция всего 30 кабельтовых, это почти в упор».

Командир дредноута (в этой игре им себя назначает Колчак) командует: «Пли!» Все пять башен главного калибра дают залп одновременно. Десять 305-мм снарядов, каждый весом в 331,7 килограммов, летят к цели. Колчак бросает кубик — самодельный, из старой костяшки домино, на гранях которого написаны результаты попаданий.

«Двадцать пять процентов попаданий при таком раскладе, — бормочет он. — Это три снаряда. Куда?»

Кубик показывает: два в «Микасу», один в «Сикисиму».

Скворцов откидывается на стуле, представляя эту картину. Бронебойный снаряд, летящий со скоростью почти километр в секунду, вонзается в кормовую башню «Микасы». Броня у японцев цементированная крупновская, 230 мм. Но на дистанции 30 кабельтовых наши 305-мм снаряды пробивают до 250 мм. Пробивает! Колчак изображает звук: «Бум! Башню срывает с погонов, снаряды в погребе начинают детонировать. Но у японцев там шимоза, она не взрывается мгновенно, она горит, и горит адски».

Второй снаряд попадает в «Микасу» ниже ватерлинии, в кормовую часть машинного отделения. Колчак проверяет по своим записям: «Броня там 150 мм. Пробивает насквозь. Пар из котлов вырывается наружу, турбины останавливаются. Микаса теряет ход. Сначала до десяти узлов, потом до пяти, это уже не боевая единица, а плавающая мишень».

Скворцов добавляет: «А третий снаряд угодил в Сикисиму?»

«В кормовое подбашенное отделение. Башня заклинивает. Теперь у японцев остаётся только два действующих орудия из кормовых башен».

Японцы пытаются ответить, но их стрельба слепа и бесполезна. «Микаса» дымит, его кормовые башни разбиты. «Сикисима» вертится на месте, пытаясь развернуть носовые орудия, но дредноут Скворцова у него за кормой, а развернуться всей эскадрой, значит подставить борт под огонь остальных русских броненосцев, которые уже подтягиваются.

Колчак командует второй залп. Кубик падает на карту, подпрыгивает и показывает четыре попадания.

«Фудзи! — кричит Скворцов. — Два снаряда в Фудзи!».

Колчак быстро перебирает свои записи: «У Фудзи броневой пояс 229 мм. Та же история, пробивает. Один снаряд в кормовую башню, второй в рулевое отделение. Фудзи теряет управление и начинает описывать циркуляцию».

Он ставит фигурку японского броненосца на попа, отмечая, что теперь она движется по кругу, сбивая строй остальных. «Микаса» и «Сикисима» уже вне игры. «Фудзи» бесполезен. Остаётся только «Асахи» и у него кормовая башня не повреждена.

Скворцов подводит итог: «Три японских броненосца выведены из строя за пять минут. У Асахи ещё есть два ствола в корме, но они стреляют раз в минуту, а мы шесть снарядов в минуту. Сейчас начнётся расстрел».

Колчак хмурится: «Не расстрел, Дмитрий Васильевич. Уничтожение, это другое слово».

Броненосец «Асахи», единственный из четырёх японских броненосцев, сохранивший ход и способность стрелять, пытается отвернуть. Его командир, капитан первого ранга Ямада, отдаёт приказ: «Право на борт! Уходим из-под огня!» Но 17-узловому броненосцу не уйти от 21-узловому дредноуту. Колчак сдвигает «Севастополь» за ним, сохраняя дистанцию 35 кабельтовых. «Асахи» вертится, как заяц, но дредноут его не отпускает.

Скворцов командует третий залп. Кубик снова в ход, показывая три попадания. Два снаряда рвутся в кормовой части «Асахи», разрушая казематы 152-мм орудий. Третий угодил прямо в кормовую башню. Колчак вздыхает: «Всё. Башню разворотило. Теперь у Асахи нет орудий, стреляющих назад. Только бортовые, но чтобы ими стрелять, надо подставить борт, а подставить борт под двенадцать 305-мм стволов...»

«Смерти подобно», — заканчивает за него Скворцов.

Колчак перебирает в уме: от первого залпа до третьего прошло двенадцать минут. Четыре японских броненосца фактически уничтожены как боевые единицы. «Микаса» горит, «Сикисима» дымит, «Фудзи» кружит, «Асахи» пытается уйти, но обречён.

Скворцов ставит фигурки японцев на попа, один за другим, как надгробные камни: «Тринадцать минут, меньше, чем курит матрос, а у нас ещё восемь броненосцев в эскадре Рождественского, им осталось только добивать».

Колчак смотрит на карту и видит, что броненосные крейсера: «Асама», «Якумо», «Адзума», «Идзумо», «Токива», «Ивате», восьмой не помнит, но их восемь. Они развернулись и теперь идут к «Севастополю», чтобы спасти свои броненосцы. Скорость у них в 20-21 узел, почти как у дредноута, но броня для 12-дм снарядов смешная.

Скворцов ухмыляется: «Броня борта в 178 мм у "Асамы". Наши 305-мм снаряды пробивают такой пояс с 80 кабельтовых, а тут 40, это даже не бой, Александр Васильевич, это казнь».

Колчак решает не отвлекаться. «Севастополь» продолжает добивать «Асахи». Четвёртый залп и два попадания в машинное отделение. «Асахи» теряет ход, замирает, начинает крепиться. Наши броненосцы: «Бородино», «Александр III», «Князь Суворов», уже подтянулись и открыли огонь по крейсерам. Японцы попадают под перекрёстную стрельбу. Скворцов ставит фигурки их крейсеров одна за другой на попа, но не убирает, пусть полежат, обозначая потерю хода, а «Севастополь» делает новый манёвр. Он не ввязывается в бой с крейсерами, зачем, если их уже накрывает эскадра Рождественского? Вместо этого он идёт дальше, к хвосту японской колонны, где идут транспорты и вспомогательные суда.

«Вот это правильно, — говорит Колчак. — Бей по обозу, без угля, без снарядов, без продовольствия японский флот протянет неделю».

Транспорты японцев — беззащитные коровы. У них нет ни брони, ни орудий больше 80 мм. Дредноут «Севастополь» даёт залп по самому большому — военному транспорту «Касугамару». Кубик показывает попадание. Колчак даже не проверяет броню, её нет. Один 305-мм снаряд разрывает транспорт пополам. Второй залп — по другому транспорту. Третий по третьему. За десять минут «Севастополь» топит шесть транспортов. Японские крейсера, видя это, пытаются прорваться, но их останавливает огонь «Орла» и «Славы».

Скворцов говорит: «Без транспортов японцы не могут эвакуировать свои броненосцы. Даже если они останутся на плаву, им нечем заделать пробоины, нечем пополнить уголь. Это не победа, а катастрофа для Японии».

Колчак кивает: «Только после Цусимы да, а тут во время боя, им бы сейчас взять и уйти. Но Того не уйдёт. У него самурайская честь».

Того, действительно, не уходит, он приказывает броненосным крейсерам атаковать русскую эскадру в лоб, прикрывая отход транспортов. Но развернуться для атаки — значит подставить борт под огонь «Севастополя», который теперь у них за спиной. Колчак чертит линию: «Севастополь» в тылу. Эскадра Рождественского перед носом. Японцы в клещах, ни один корабль не может уйти без того, чтобы не получить снаряд в борт.

Колчак командует залп за залпом, хотя игра уже давно не требует, так как результат ясен. Дредноут «Севастополь» выпускает по японским крейсерам четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый залп. Боезапас по сто снарядов на ствол, тысяча всего. Расстреляно, всего полторы сотни. Осталось ещё много. Японские броненосные крейсера, получив по два-три попадания, теряют ход: «Асама» горит. «Якумо» разворачивается и уходит в туман, на самом деле не в туман, просто из игры, потому что продолжать бессмысленно.

Колчак подсчитывает потери, из восьми броненосных крейсеров три потоплены, два тяжело повреждены, один потерял ход. Остальные два пытаются уйти, но их настигают русские броненосцы, те, что потише, «Олег» и «Аврора», добивают их 152-мм снарядами, это уже не Цусима, где бегут русские, а Цусима, где бегут японцы.

Скворцов улыбается в усы: «А ведь Того мог бы и не бежать. Если бы у него был свой дредноут. Но нет, не успел. Строил долго, воровал много. Знакомая песня».

Японский флагман «Микаса» тонет. Того эвакуируется на миноносец, но миноносцы тоже не спасут, русские эсминцы уже охотятся за ними. В игре Колчак не добивает — хватит и

так ясно. Того проиграл. Проиграл из-за одного корабля, которого не должно было быть здесь, но который появился. Потому что два инженера в Петербурге играли в кораблики и верили, что русский флот может побеждать.

Скворцов собирает фигурки обратно в коробку. Японцы в одну стопку, русские в другую.

«Потеряно, — говорит он, — четыре японских броненосца, шесть броненосных крейсеров, восемь транспортов. Остатки японского флота заблокированы в бухтах Кореи. Русские потери: "Севастополь", получает два попадания 203-мм снарядами, не серьёзно. Броненосцы "Бородино" и "Александр III", по паре пробоин выше ватерлинии. Только "Ослябя" получил торпеду, но не затонул, отбуксировали во Владивосток».

Колчак смотрит на итоговую расстановку и тихо говорит: «Вы знаете, Дмитрий Васильевич, ведь это не фантастика, это просто инженерный расчёт. Мы могли это сделать. Мы могли заложить Севастополь в 1900 году, тогда бы у нас было пять лет на постройку, но...»

«Не заложили, — заканчивает Скворцов. — Потому что не верили, думали, что японцы слабее, потому что авось и за авось заплатили флотом».

Колчак встаёт, подходит к окну, метель кончилась, небо чистое. Он долго молчит, потом оборачивается: «Игра, это, конечно, хорошо, а теперь представьте, что на месте картонных фигурок живые люди. Шесть тысяч живых людей, которые могли бы не утонуть. Если бы мы, ты и я, Дмитрий Васильевич, десять лет назад стучали кулаками по столам громче. Вопрос: сколько ещё будет умирать матросов, пока мы научимся строить вовремя?».

Скворцов не отвечает, только молча карту сворачивает. Они молчат минут пять. Водка кончилась. На столе карта, фигурки, блокнот с пометками. Колчак снимает пенсне, протирает его полой сюртука: «Вы знаете, Дмитрий Васильевич, ведь это всё фантазия. В реальности "Севастополь" еще не заложили, слишком поздно.

Скворцов не спорит, он сам считал дни, недели, месяцы. Если бы Дума не отказала в 1908-м, если бы деньги нашли в 1907-м, если бы Столыпин продавил решение раньше. Мы знаем, что надо делать, что если сделать то обязательно выиграем, но у нас нет времени, нет денег, нет политической воли и каждый год, каждый месяц промедления, это чья-то смерть в будущем бою. Колчак наливает последнюю каплю себе и Скворцову.

«За тех, кто утонул в Цусиме и за тех, кто утонет в следующей войне, если мы ничего не изменим».

Решение, которое они принимают перед расставанием, звучит как клятва. Завтра утром направиться в штаб, на прорыв болота и рутины. Бить в колокол, писать доклады, стучать кулаком по столам. Даже если не послушают. Даже если назовут паникерами. Потому что играть в кораблики на кухне, это хорошо, а строить реальный флот, который не будет тонуть, это единственное, ради чего стоит жить.

Колчак провожает Скворцова до двери. Снег перестал, небо чистое, звёздное.

«Вопрос, Дмитрий Васильевич, — говорит он на прощание. — Сколько ещё можно играть в игрушки, пока настоящие корабли гниют у причалов? И когда мы, наконец, начнём работать, а не изображать работу?».

Скворцов не отвечает, только шапку поправляет и уходит в метель.

Опытный бассейн на Фонтанке

Мартовский петербургский воздух, еще колючий и сырой, пробивался сквозь щели высоких окон Морского опытного бассейна, где пахло машинным маслом, формалином и старой, вечной сыростью. Алексей Николаевич Крылов, грузный, осанистый, с окладистой профессорской бородой и неизменным карандашом за ухом, хлопотал у края огромного резервуара с водой, запуская уменьшенную копию будущего дредноута. Колчак стоял рядом, сцепив руки за спиной, и смотрел, как изящная модель, ведомая невидимой силой, разрезает зеркальную

гладь, оставляя за кормой идеальные полосы пены. Бассейн этот помнил еще испытания моделей для злополучных броненосцев типа "Бородино", что полегли в Цусимском проливе, и оттого каждый всплеск здесь отдавался в сердце моряка горьким эхом.

Крылов, корабельный инженер от Бога, чьи расчеты знали во всем мире, удовлетворенно крикнул, глядя на стремительный бег модели, и повернулся к Колчаку.

"Скоростные обводы отличные, Александр Васильевич, — сказал он, и в голосе его послышалась та спокойная уверенность, что рождается лишь от точных цифр. — Двадцать три узла даст, если котлы не подведут и винты не подкачают. Я ручаюсь за гидродинамику".

Но тотчас он умолк, и лицо его омрачилось той особой тревогой, какую испытывает всякий инженер, узревший ошибку в собственном детище. Он ткнул указкой в носовую оконечность модели, где тонкая стальная линия обводов плавно переходила в форштевень, и покачал головой.

"Вот здесь беда, — произнес Крылов глухо. — Развал бортов в носовой части слишком маленький. Я предупреждал еще на прошлых испытаниях, но меня не услышали".

Он повернулся к Колчаку, и глаза его, умные и немного усталые, смотрели с той спокойной настойчивостью, что бывает лишь у людей, привыкших к истине.

"На волне корабль будет зарываться носом, Александр Васильевич, зарываться так, что палубу будет захлестывать и тогда никакие двадцать три узла не спасут вас от потери скорости, а то и от повреждения носовых башен".

Колчак морщился, ибо слышал это уже в десятый раз от Крылова, от его помощников, от всех корабельных инженеров, что били тревогу. Артиллеристы, которых слушал Колчак, хотели одного — максимальной скорости для быстрого сближения с противником на дистанцию эффективного огня. Они рассуждали просто: чем острее обводы, тем меньше сопротивление воды, тем быстрее дредноут догонит врага или уйдет от него. Мореходность для Балтики, говорили они, второстепенна, в конце концов, Балтийское море, это не Атлантика и не Тихий океан. Волна там редко поднимается выше двух метров, и можно пожертвовать комфортом в шторм ради решительного преимущества в бою и Колчак, сам артиллерист до мозга костей, склонялся к этому доводу, ибо знал цену каждой лишней мили в час.

"Два метра — это много, Александр Васильевич, — тихо сказал Крылов, словно читая его мысли, и в голосе его прозвучала та особая инженерная горечь, что не терпит небрежности. — При той метацентрической высоте, что вы закладываете, и при таком развале бортов, корабль будет сидеть в воде как свинья".

Он развел руками, показывая, как неуклюже поведет себя огромная махина на волне, и добавил, что при встречном ветре нос будет зарываться в гребень, а палуба принимать тонны воды.

"Вам не нужна будет скорость, если корабль станет неуправляемым, — закончил Крылов, и его слова повисли в сыром воздухе бассейна тяжелым грузом. — Вы думаете о бое, а я думаю о том, как вы доживете до боя".

Эта дилемма мучила Колчака всю дорогу до штаба, где воздух казался еще более спертым от канцелярской пыли и табачного дыма. Кого слушать, расчетливого математика Крылова, который никогда не командовал кораблем в бою, но знал гидродинамику как свои пять пальцев? Или свой артиллерийский опыт, подсказывавший, что главное в морском сражении, это доставить тяжелый снаряд к цели раньше, чем это сделает противник? Колчак шагал по коридорам Адмиралтейства, сжимая в руке портфель с чертежами, и чувствовал, как в его душе борются два начала: точная наука и военная необходимость. Он знал, что скорость дает маневр, а маневр в бою, это сама жизнь для корабля и его экипажа.

Александр Васильевич остановился у залитого серым мартовским светом окна и уставился на Неву, где качались на волнах серые корпуса старых броненосцев. Он вспомнил Цусиму, вспомнил, как медлительные русские корабли не могли уйти от быстрых японских

крейсеров, как артиллерия запаздывала с пристрелкой, как гибли люди из-за недостатка скорости.

"Мы не в Атлантике, — сказал он себе, словно убеждая самого себя. — На Балтике шторма не те, а германский флот не будет ждать, пока мы раскачаемся в волну".

Крейсера и эсминцы, эти быстрые и верные разведчики, разведывают погоду за поворотом мыса, а линкоры в бурю станут на якорь в укрытых гаванях или у стенки, пережидая непогоду, и Колчак принял решение, тяжелое и мучительное, но твердое, как сталь будущих оружейных стволов. Пусть зарывается, решил он. Пусть нос принимает на себя удары волн, пусть палуба захлестывается в свежий ветер, но двадцать три узла останутся главным козырем русского дредноута. Он знал, что Крылов будет недоволен, что корабельные инженеры станут качать головами и шептаться за его спиной. Но он также знал, что артиллерийские офицеры, те, кто будет стрелять из двенадцатидюймовок в кипящем море, поддержат его, ибо они понимали цену быстроты. Война, это не гидродинамические расчеты, это грохот залпов и крики раненых, и на войне успевает тот, кто быстрее.

Крылов, услышав решение Колчака, только вздохнул и потер переносицу, где навсегда отпечатался след от очков.

"Вы офицер, и вам решать, — сказал он сухо, пряча карандаш за ухо. — Я лишь инженер, я говорю, что будет, а вы выбираете, что делать".

В голосе его не было обиды, была лишь та спокойная горечь человека, привыкшего к тому, что его предостережения остаются неслышанными. Он вернулся к своим расчетам, к своим моделям и чертежам, зная, что если корабль погибнет в шторм или потеряет ход, он, Крылов, будет прав, но правоты его никто не вспомнит. А Колчак ушел из бассейна с твердым убеждением, что совершает единственно верный выбор.

В штабе, куда он прибыл через час, уже ждали документы по проекту, и адъютанты сновали с папками, напоминая о сроках и сметах. Колчак сел за стол, отодвинул в сторону стакан с остывшим чаем и раскрыл дело с чертежами новых дредноутов, где Крыловым были сделаны пометки красным карандашом. Он долго смотрел на носовые обводы, на те самые скулы, что должны были давать скорость, но сулили опасность на волне, и чувствовал, как в груди закипает спор с самим собой.

"Балтика — не океан, — повторил он как мантру, сжимая в пальцах карандаш. — И мы не будем ходить в шторм, если есть укрытие".

Решение было принято, и он вписал в итоговый проект окончательные цифры, не оглядываясь на предостережения. Только выйдя на крыльцо штаба, где морозный ветер с Невы ударил в лицо, Колчак позволил себе закурить и задержаться на мгновение. Он смотрел на серое небо, на свинцовую воду, и в душе его, где-то глубоко, шевелился червячок сомнения, а что, если Крылов прав? Что, если в свежий ветер, когда волна поднимется выше двух метров, дредноут, созданный для скорости, превратится в неуклюжую колоду, захлебывающуюся носом? Но он отогнал это сомнение, ибо привык доверять своему опыту и своей интуиции, которые редко подводили его в полярных экспедициях и морских походах. Он решил, и он не отступится. Когда пролетка тронулась с места, унося его прочь от штаба к дому, Колчак еще раз мысленно вернулся к разговору с Крыловым.

"Он математик, — думал офицер, глядя на проплывающие мимо фасады петербургских особняков. — Он считает волны, коэффициенты и метацентрические высоты, а я считаю снаряды, калибры и жизни матросов".

И в этом расчете, жестоком и прямом, скорость побеждала комфорт, огонь побеждал воду, а артиллерия — гидродинамику. Колчак знал, что история рассудит их с Крыловым, но до той поры он делал то, что должен был делать офицер русского флота.

Крылов остался в бассейне, у своего резервуара, глядя на успокоившуюся воду, где модель уже не бежала, а стояла неподвижно, как памятник неслышанным советам.

"Двадцать три узла, — пробормотал он себе под нос, качая головой. — Ах, если бы не волны... Если бы море было гладким, как этот бассейн".

Он достал из кармана потрепанный блокнот и что-то записал, наверное, очередное замечание по проекту, которое никто не прочтет. Но инженер знал свое дело, и он будет бороться до конца, ибо корабль, созданный без учета морской стихии, это не корабль, а игрушка для самоубийц и он снова склонился над чертежами, нанося синим карандашом исправления, которые, как он знал, никогда не утвердят.

Сон Крылова

Ночь с 14 на 15 марта 1907 года. Мне приснилась Цусима, не та, которую я знал по рапортам и схемам. Настоящая. Я стоял на мостике «Александра III» и чувствовал, как под ногами прогибается палуба. Броненосец шёл в кильватер «Суворову», и вокруг падали снаряды.

Я проснулся в холодном поту, а часы показывали три ночи. Жена спала рядом, я не стал её будить. Накинул халат, прошёл в кабинет, зажёл лампу. Передо мной лежали чертежи «Севастополя», те самые, которые мы с Бубновым закончили на прошлой неделе. Двести двадцать пять миллиметров главного пояса, пять метров его высоты, красиво, но бесполезно.

Я взял карандаш и начал считать. Не на логарифмической линейке, а в уме. Пять метров высоты при толщине 225 мм дают объём брони на метр длины, чуть больше куба. Если уменьшить высоту до трёх с половиной метров, тот же объём даст толщину уже 320 мм. Вопрос, зачем нам пять метров, если японские снаряды в Цусиме попадали в основном в ватерлинию? Утром я позвонил Бубнову.

«Иван Григорьевич, — сказал я в трубку, — приезжайте, у меня есть идея».

Бубнов приехал через час, невозмутимый, как всегда. Выслушал, взял мои расчёты, посмотрел и сказал: «Ты понимаешь, что моряки нас за это съедят? Они требовали высокий пояс».

«А я им предъявлю Цусиму, — ответил я. — Там никто не жаловался на низкий пояс. Там жаловались, что его пробивали».

Бубнов усмехнулся: «Тогда давай считать дальше».

Разговор с Гуляевым. Март 1907 года

Я поехал к Гуляеву через два дня после того сна. Иван Васильевич жил на окраине, в деревянном доме с мезонином. Встретил меня хмуро, провёл в кабинет, где пахло старыми чертежами и машинным маслом.

«Вы о моих наделках? — спросил он, не предлагая сесть. — Их уже отклонили».

«Я не о наделках, Иван Васильевич. Я о другом. Вы писали о шпоночном соединении бронеплит. "Ласточкин хвост"».

Гуляев подошёл к столу, развернул ватман. «Вот, смотрите. Обычная плита крепится на болтах. Попадает снаряд и болты срезает, плита вдавливается внутрь, а если плиты соединены шпонками, энергия удара распределяется на соседние».

Я смотрел на чертёж и понимал, это то, что нужно, не толще, а умнее. Тот же объём брони, но работает она иначе.

«Сколько весят шпонки?» — спросил я.

«Мелочь, тонн тридцать на весь пояс».

Я кивнул, тридцать тонн не двести, можно и уговорить.

«Иван Васильевич, — сказал я. — У вас есть готовый проект для 300-мм пояса?»

Гуляев посмотрел на меня в упор: «Я три года ждал, когда кто-нибудь спросит. Есть».

Мы проговорили до вечера. Он показывал расчёты, я записывал. Когда я уходил, Гуляев сказал: «Алексей Николаевич, если пройдёт, то поставьте свечку за мою душу. Я уже старый, а правда так и не восторжествовала».

Я не нашёлся, что ответить.

Бубнов идёт в МТК. Апрель 1907 года

Бубнов вернулся из МТК злой как чёрт. Швырнул папку на стол, сел, долго молчал.

«Ну?» — спросил я.

«Говорят, "интересно, но несвоевременно". Ты представляешь? Несвоевременно! У нас война была, идиоты! — он стукнул кулаком по подлокотнику. — Им подавай сплошной 305-мм пояс по всему борту. Я им говорю, не влезет, водоизмещение будет тридцать тысяч, а они: "Ищите возможности"».

Я налил ему чаю. «А если мы предложим не сплошной, а комбинированный? Пояс 300 мм на три метра, выше, 150 мм, чтобы осколки держать».

Бубнов задумался. «Меньше объёма, больше толщина, но моряки захотят всю ватерлинию прикрыть».

«Прикроем, в оконечностях по 100 мм. Снаряд в нос или корму, не страшно, там нет жизненных частей».

Он взял карандаш, начал чертить прямо на салфетке. Мы просидели до полуночи. К утру набросок был готов: главный пояс 300 мм на 3,5 метра высоты, оконечности по 100 мм, верхний пояс, до 75 мм противоосколочный.

«Знаешь, — сказал Бубнов, откладывая карандаш. — А ведь это работает, по массе, это почти то же самое, что у нас было».

«Почти, но гораздо толще», — поправил я.

Он усмехнулся: «Ладно, пойду завтра снова, может, во второй раз услышат».

Испытания «Чесмы». Май 1907 года

Черноморский флот получил приказ подготовить броненосец «Чесма» к обстрелу. Старый, списанный, но всё ещё на плаву. Комиссию возглавлял контр-адмирал Чернавский — человек умный и въедливый, а я приехал в Севастополь на две недели.

«Алексей Николаевич, — встретил меня Чернавский на причале. — Ваша идея?»

«Моя. Хочу проверить, что будет с 225 мм поясом при попадании тяжёлого снаряда».

Он покачал головой: «Вы знаете, что наши 305-мм/40 не дадут нужной скорости?»

«Имитируем, пониженный заряд, но сближаем дистанцию до упора и подтапливаем корабль, чтобы создать крен».

Чернавский посмотрел на меня с интересом: «Хитро, а безопасно?»

«Никто не гарантирует, но другого способа нет».

В мае мы начали стрельбы. Первый снаряд в 331 кг, начальная скорость 700 м/с — пробил пояс насквозь, не просто пробил, а вырвал кусок плиты вместе с креплениями. Броня вела себя отвратительно, болты срезало, плита вдавилась внутрь, за ней открылась пробоина в три квадратных метра.

Чернавский молчал, и я тоже, мы смотрели на дыру в борту и думали об одном, что это конец, «Севастополи» при 225 мм броневом поясе, совсем не защищены.

«Что предлагаете?» — спросил Чернавский.

«Менять всё, — ответил я. — Пояс толще, крепления другие и обстрелять снова».

Апрель 1907 года, кабинет Колчака, ночь. На столе свалены горы чертежей, таблиц, расчётов. Колчак сидит под лампой с зелёным абажуром, и тени от его пальцев пляшут на ватманах. Он выводит пером фразу: «Мореходные качества корабля при волнении до 6 баллов признать удовлетворительными».

Врёт, он знает, что врёт, но другой бумаги начальство не примет. Слишком много уступок уже сделано кораблям. Слишком поздно что-то менять. Модель уже запущена в мелкую

серию. Конфликт разгорается внутри него самого, между совестью и приказом. Он откладывает перо и смотрит на портрет жены — Софья Фёдоровна, тонкая, с высокой причёской, смотрит с дагерротипа укоризненно. Ей он писал из Арктики: «Вернусь и будем жить тихо, я уйду с флота».

Не ушёл, не может, флот, это его жизнь. Даже если флот этот гнилой, нищий, неспособный родить дредноут без ошибок. Он заканчивает доклад и подписывает его. Почерк твёрдый, но буквы поплыли. Колчак устал, но решение принято и мореходность приносится в жертву скорости. Корабль будет зарываться носом в волну. Башни будет заливать. Но он будет быстросходным. Колчак гасит лампу и идёт домой пешком, по набережной, мимо Невы, которая ещё подо льдом. Небо чистое, звёздное. Он останавливается и долго смотрит на Полярную звезду, та, что вела его шхуну через льды, теперь она не поможет.

Май 1907 года, маленькая пивная на Васильевском, где собираются инженеры. Крылов и Колчак сидят в углу, пьют тёмное пиво, по три копейки кружка, закуска — сушёная корюшка, пять копеек. Крылов молчалив и хмур. Колчак тоже. Между ними на столе лежит сводка: Германия заложила ещё два дредноута типа «Нассау», с 28-см орудиями, но с хорошей бронёй и мореходностью.

«Слышал, — говорит Крылов, — у них там носы широкие? Не зарываются?»

Колчак кивает: «А у нас будет?»

«А у нас свинья», — раздраженно ответил Крылов.

Дилемма, которая осталась за кадром официальных документов, мучит их обоих, не слишком ли мы увлеклись английским опытом? Не скопировали ли их ошибки вместе с достоинствами? Крылов допивает пиво и ставит кружку на стол с глухим стуком.

«Александр Васильевич, я ведь предупреждал, что мореходность, это артиллерия. Если башни заливают, какая разница, какой у вас калибр?»

Колчак молчит, он не может признать, что артиллеристы ошиблись, не может признать, что диктат пушек привёл к тому, что пушки эти станут бесполезны при первом свежем ветре. Решение? Его нет. Только горький осадок пива и понимание, что корабль уже не переделать. Проект утверждён, деньги выделены, стапеля готовят, через два года заложат «Севастополь» — красивый, быстрый, но беспомощный при волнении. Колчак расплачивается, тридцать копеек за двоих. Выходит на улицу. Весенний воздух пахнет талой водой и близкой катастрофой. Вопрос к тем, кто будет читать эту книгу через сто лет и на каком языке? Чья победа весомее, немецкая на бумаге или русская в чертеже, который утонет при первом шторме? Или правы были те, кто вообще не хотел строить линкоры?

Второй раунд. Июль 1907 года

Через два месяца мы вернулись на «Чесму». На этот раз плиты были поставлены на шпонки, те самые, «ласточкин хвост», о которых говорил Гуляев. Пояс 300 мм высотой 3,5 метра, а верхний в 75 мм.

Стреляли из той же пушки, теми же снарядами. Результат оказался иным. Снаряд ударил в пояс, плита не вдавилась, она передала энергию соседним. Появилась трещина, но пробоины не было. Снаряд, правда, всё равно пробил броню, но не вырвал её, а оставил аккуратное отверстие.

«Уже лучше, — сказал Чернавский, осматривая повреждения. — Но пробил».

«Пробил, — согласился я. — А теперь посмотрите на внутреннюю переборку».

За поясом стоял 50-мм лист. Снаряд ударил в него, сплюснулся, взорвался. Осколки не прошли дальше, их задержал броневой скос.

Чернавский присвистнул: «Так вот вы какую систему придумали, пояс, чтобы погасить скорость, переборка, чтобы осколки».

«И скосы, чтобы окончательно остановить».

Мы стояли и смотрели на израненный, но живой отсек. «Чесма» выдержала то, от чего «Бородино» взрывались.

«Докладываю в Петербург, — сказал Чернавский. — Доложу, а там пусть решают».

Сентябрь 1907-го, Петербург, Адмиралтейство. Я, Дмитрий Васильевич Скворцов, переступаю порог зала заседаний Морского технического комитета. На мне сюртук с потёртыми локтями, три года чертежей и расчётов не оставляют времени на портных. Папка с ватманами тяжёлая, как якорь, и я сжимаю её так, что костяшки белеют. В зале душно, пахнет мастикой для пола и старым табаком, смесь, от которой у меня всегда начинала болеть голова.

Цель у меня одна, доказать этим сытым адмиралам, что мой проект нового линкора, не фантазия, а рабочий чертёж. Двадцать две тысячи тонн, пять башен главного калибра, скорость двадцать один узел. Я всё просчитал до последней заклёпки.

Конфликт вспыхнул ещё до того, как я раскрыл папку. Контр-адмирал Диков — грузный, с бакенбардами, как у Александра Третьего, и вечно мокрыми от пота пальцами спросил с порога: «Скворцов, а почему у Вас только десять стволов? У англичан десять, у немцев дюжина. Мы что, догоняем?»

Я ответил, стараясь не смотреть на его пуговицы, золотые, с двуглавыми орлами, под стать его самолюбию: «Перегоняем качеством, ваше превосходительство. Наши 470-килограммовые снаряды, самые тяжёлые в мире».

Поражение наступило мгновенно, так как Диков не слушал, он перелистывал бумаги и морщился, как от зубной боли. Рядом сидел капитан первого ранга Белли, худой, с длинными пальцами пианиста и ядовитой усмешкой, которая не сходила с его лица уже двадцать лет.

«Голубчик, — сказал Белли, — а вы слышали про германские трёхорудийные башни? Шестнадцать стволов на линкор!»

Я слышал, но не верил, слишком хорошо знал немецкую бережливость, но комитет уже загорелся и я понял, что мой проект умирает, прямо здесь и сейчас. Диков отошёл к окну, широкий, неповоротливый, как старый броненосец. Я видел его затылок, бритый, с жирной складкой на шее. Он молчал минуту, другую. Наконец, не оборачиваясь, спросил: «Скворцов, а сколько будет весить трёхорудийная башня?»

Я ответил честно: «Две башни по три орудия будут весить, на пятнадцать процентов легче трех двухорудийных, ваше превосходительство, но сложнее в производстве и менее надёжнее».

Дилемма встала перед ним, и я её почти физически ощущал. Первое принять мой проект, проверенный, просчитанный, но вчерашний. Второе рвануть за слухами, за мифическими немецкими шестнадцатью стволами, и получить неизвестно что. Диков вздохнул тяжело, как паровоз на подъёме.

«А если слухи подтвердятся? — спросил он. — Если у немцев действительно будут трёхорудийки, а у нас нет?»

Решение он принял тут же, не отходя от окна: «Отложим ваш проект, Скворцов. До получения точных данных из Германии».

Я хотел крикнуть, что точных данных не будет никогда, разведка врёт, немцы сами не знают, что строят, но промолчал, потому что понял, переубедить Дикова сейчас нельзя, он из тех, кто ждёт идеальной бумаги, а время шло, но у нас не было даже дредноутного чертежа. Белли подошёл к столу и взял мой главный ватман, с продольным разрезом корпуса. Его пальцы, длинные и жёлтые от никотина, пробежали по карандашным линиям.

«А что это у вас? — спросил он, ткнув ногтем в носовую оконечность. — Ледокольное образование? Зачем? Мы что, собираемся в Арктику?»

Я ответил: «Для Балтики, ваше высокоблагородие, лёд там стоит по три месяца. Обычный форштевень сломается, вдруг враг зимой пожалует?»

Конфликт разгорелся с новой силой, ведь Белли не любил меня, я это знал. Он был из тех инженеров, которые строили «Бородино», а я критиковал их за перегруз и низкую мореходность, теперь он мстил за каждое моё слово.

«А вот здесь, — он ткнул в казематы на средней палубе, — четырнадцать 120-мм орудий, почему не в надстройках?»

Я объяснил: так надо, так надёжнее, но Белли качал головой. Проблема пришла с неожиданной стороны, от моего же чертежа. Белли нашёл в нём слабое место.

«Водоизмещение — двадцать две тысячи, — сказал он. — А высота надводного борта, всего пятнадцать футов. Вы что, хотите получить новый «Бородино», который будет зарываться носом в волну?»

Я промолчал, потому что он был прав, мой корабль был хорош для чертежа, но плох для моря и я это знал, но кто бы мне дал ещё год на доработку?

Заседание кончилось, все разошлись, Диков в свой кабинет, Белли на обед (я слышал, он любил расстегивать в трактире на Морской), остальные по своим делам. Я остался один. Ватманы лежали на столе, и на одном из них, на том, где был разрез корпуса, я увидел пятно, от кофе, что ли, или от чернил? Уже неважно...

Дилемма мучила меня всю обратную дорогу. Первое уйти из флота, уехать на частный завод, строить коммерческие суда. Там платят лучше и дергают меньше. Второе остаться и биться за свой проект, даже зная, что шансов нет. Я выбрал второе. Потому что кто, кроме меня, сделает чертёж правильно? Сбрендившие адмиралы? Казённые инженеры, которые считают только чины?

Решение пришло само собой. Я решил переделать проект под трёхорудийные башни, не потому что верил в немецкие слухи, не верил, а потому что понял, комитет не примет ничего другого. Да, это компромисс. Да, это полшага назад, но лучше полшага назад, чем стоять на месте. Я собрал ватманы и вышел, на улице моросило, обычный петербургский дождь, который идёт и идёт, как будто небо забыло закрыть кран. Я закурил, но папироса намокла и погасла, всё погасло.

Вечером того же дня я зашёл в трактир «У Медведя» на Вознесенском, там собирались свои: корабельные инженеры, механики, чертёжники, люди, которые делали флот руками. Я сел за столик к Кутейникову — молодому инженеру с нечёсаной бородой и вечно измазанными тушью пальцами. Он пил чай из блюдца и дул на него, как паровоз.

«Слышал про твоё фиаско, Дмитрий Васильевич, — сказал он без обиняков. — Диков опять решил подождать».

Конфликт переместился из казённых залов в прокуренную пивную. Кутейников был резок, молодость, гордость, отсутствие чинов.

«Ты же знаешь, — сказал он, — слухи про немецкие трёхорудийки враньё. Мой человек в Киле писал, мол нет у них ничего. Всё те же пять двухорудийных башен».

Я кивнул, так как знал, но комитет верил панике, а не фактам. Паника — плохой советчик, особенно когда речь идёт о броне. Кутейников вынул из внутреннего кармана смятый листок, телеграмму из Германии.

«Читай, — сказал он. — "Bauplan für 1908 keine Dreifachtürme". Никаких трёхорудийных башен в плане на 1908 год нет».

Я перечитал два раза, телеграмма была настоящей, но что с неё толку? Комитет заказал официальную бумагу через посольство. Она придёт через два месяца, а пока будут ждать, немцы заложат четыре дредноута, а мы ни одного.

Вернулся я домой поздно. Снял сюртук, потёртые локти окончательно разлезлись, надел старенькую толстовку и зажёл керосиновую лампу. Жена уже спала, я не стал её будить. Сел за стол, развернул ватман и начал перечерчивать, с двухорудийных башен на трёхорудийные.

Цифры плясали перед глазами, как в лихорадке. Я знал: это неправильно. Трёхорудийная башня, это большой риск, но выхода не было.

Дилемма всей моей жизни свелась к простому выбору, первое, это сделать идеальный проект, который отвергнут или второе, сделать плохой проект, который примут. Я выбрал второе. Потому что какой толк от идеальной пушки, если она не стреляет? И какой толк от правильного чертежа, если по нему не построят ни одного корабля?

В три часа ночи я отодвинул ватман, всё было кончено, проект Скворцова 1907 года умер. На смену ему шёл «Севастополь», с четырьмя трёхорудийными башнями, низким надводным бортом и кучей проблем, которые я предвидел, но не мог исправить. Потому что мне не дали времени. Вопрос, который я так и не задал тем жирным адмиралам: сколько стоит год ожидания? Один дредноут? Десять? Или вся война, которую мы проиграем, потому что наши корабли будут уступать немецким на узел, на дюйм брони, на одно попадание? А может, вообще ничего не стоит? Просто время, которого у Российской империи всегда было много, а потом вдруг не стало.

Адмиралтейств-Совет

Сентябрь 1907 года. Заседание было закрытым, и журналистов, ни посторонних. Только адмиралы, инженеры и Крылов с Бубновым в углу.

«Господа, — начал председатель. — Результаты испытаний "Чесмы" перед вами. Прошу высказываться».

Бринк поднялся первым: «Я не понимаю этой паники. Толщина броневых пояса в 225 мм пояса норма для мирового флота. Англичане ставят 229 мм, немцы 240 мм».

«Англичане, — возразил я, — ставят пояс высотой три с половиной метра, у нас пять. На ту же массу мы могли бы иметь 300 мм, а имеем 225, это не норма, а ошибка».

Бринк покраснел: «Вы предлагаете снизить высоту пояса? А мореходность? А непотопляемость при возможном крене?»

«При крене в 14 градусов, — ответил Алексей Николаевич спокойно, — ваши 225 мм всё равно не спасут. Они уже будут пробиты. Я предлагаю сделать пояс таким, чтобы он спасал до того, как корабль накренится».

Председатель постучал молотком. «Господа, давайте без эмоций. Бубнов, ваше мнение?»

Бубнов встал, одёрнул китель: «Мы с Крыловым подготовили проект модернизированного бронирования. Главный пояс в 300 мм, высотой 3,75 метра. Верхний противоосколочный в 75 мм, оконечности закрыты до 100 мм. Шпоночное крепление плит. По массе укладываемся в существующие лимиты».

В зале зашумели: «Невозможно», «не влезет», «перегрузка», — слышалось отовсюду.

«Влезет, — сказал Бубнов. — Мы пересчитали, проверьте, если не верите».

Крылов объявляет конкурс

Осень, Петербург, кабинет Морской академии. Кабинет Алексея Николаевича Крылова пахнет старым деревом, табачным дымом и чем-то ещё неуловимым, возможно, той самой тревогой, которая не отпускала его с самого Цусимского сражения. На столе разложена стопка заявок от иностранных фирм, каждая в плотной бумажной папке с сургучными печатями. Англичане, немцы, итальянцы, все хотят заполучить заказ на турбины для новых русских дредноутов. Крылов перебирает их, и пальцы его дрожат, не от страха, от напряжения. Он знает: Россия технически отстаёт в производстве паровых турбин, их просто никто не умеет делать для кораблей такого размера, ни Балтийский завод, ни Адмиралтейский, ни Франко-Русский.

«Иван Григорьевич, — говорит Крылов Бубнову, сидящему напротив, — вы посмотрите на эти цифры. Немцы дают 42 000 лошадиных сил. Англичане — 40 000. Наши — 32 000. Разрыв, как между "Бородино" и "Микасой"».

Бубнов хмурится, крутит в пальцах карандаш, ломает грифель. Он корабел, а не механик, но понимает, что если не добудем турбины сейчас, то опоздаем навсегда. Немцы уже спустили на воду «Нассау», англичане штампуют «Беллерофоны», а мы ещё даже стапеля не подготовили, время работает против Российской империи.

Крылов предлагает хитрый ход — объявить международный конкурс. Победитель получает заказ, но с одним условием: строить турбины в России, передавая нам технологии. Чертежи, оснастка, обучение мастеров, всё.

«Капканная схема», — усмехается он, а Бубнов добавляет: «Или учебный процесс за наши деньги».

Тактика стара как мир, сначала позволить иностранцам зайти, а потом забрать их секреты. Вопрос только в том, позволят ли нам это сделать. За окном сырая петербургская осень, моросит дождь, ветер гонит по Неве холодную воду. Крылов подходит к окну, смотрит на корабли у набережной. Там стоят старые крейсера, броненосцы, которые уже никогда не выйдут в море. Он думает о мальчишках, которые будут служить на новых линкорах. Если мы ошибёмся с турбинами, эти мальчишки не вернутся домой. Ответственность давит на плечи, как чугунная плита.

«Пишите, — наконец говорит он Бубнову. — Пусть присылают заявки до Рождества, а там посмотрим».

Битва за барбеты. Октябрь 1907 года

На следующем заседании речь зашла о башнях.

«Товарищи, — Бринк разложил чертежи. — Ваши новые барбеты не влезут, диаметр увеличить нельзя, водоизмещение вырастет».

«А кто говорит об увеличении диаметра? — Крылов подошёл к доске. — Мы предлагаем изменить схему бронирования. Сейчас у вас 150 мм над верхней палубой и 76 мм ниже. Мы предлагаем: 300 мм на полметра над палубой и метр под ней, затем 250 мм до средней палубы, и только в самом низу 76 мм».

Бринк быстро посчитал в уме и присвистнул: «Это же тонн триста лишних на все четыре башни».

«Двести восемьдесят, — поправил Бубнов. — Мы нашли экономию на вертикальном бронировании, не волнуйтесь, в лимит укладываемся».

Корабельный инженер Шотт качал головой. «Вы играете с огнём, перегрузка это осадка влияющая на мореходность».

«А пробоина в погребе это взрыв, — ответил я. — Что лучше, господа? Перегрузка в пятьсот тонн или "Полтава", летящая в воздух?»

В зале стало тихо. Цусима была у всех перед глазами: «Бородино», «Александр III», «Суворов», они не перегружены, они лежат на дне.

Председатель вздохнул: «Голосуем».

Палубы и скосы. Ноябрь 1907 года

Третьей проблемой оказались палубы.

«У нас три палубы, — Бубнов показывал на схеме. — Верхняя — 37,5 мм, средняя — 25 мм, нижняя — 12 мм со скосами 50 мм, итого 74,5 мм вертикальной защиты и 50 мм на скосах».

«А что не так?» — спросил кто-то из адмиралов.

«Всё не так, — я вышел к доске. — Испытания показали: 305-мм снаряд пробивает 37-мм палубу, не взводя взрыватель, затем он пробивает 25 мм среднюю и только на 12-мм нижней взрыватель срабатывает, а там уже расположены кочегарки».

«Что Вы предлагаете?»

«Я предлагаю убрать броню с верхней палубы вообще. Оставить только конструкционную сталь, среднюю, оставить как есть. Нижнюю усилить до 50 мм на горизонтальной части, а скосы до 76 мм. По массе, тот же объём, но защита гораздо надёжнее».

Бринк pokrутил головой: «А если снаряд взорвётся на верхней палубе? Осколки пойдут вниз».

«Осколки 305-мм снаряда не пробьют 25 мм палубы, проверено на "Чесме"».

Спор шёл ещё час, но цифры были на нашей стороне, к вечеру адмиралы согласились.

Бубнов выдохнул: «Похоже, мы их переубедили».

«Похоже, — ответил я. — Дай бог, чтобы не зря».

Башни. Декабрь 1907 года

Когда Крылов увидел чертежи башен «Севастополя», ему стало дурно. Лоб в 203 мм. Борта в 203 мм. Корма уже 305 мм, но это противовес, туда снаряды не летят. Крыша лишь 76 мм.

«Иван Григорьевич, — позвал я Бубнова. — Вы это видели?»

«Видел и что?»

«Снаряд в крышу и башни нет. Плита в 76 мм (3") не держит даже 305-мм фугас даже с 50 кабельтовых».

Бубнов подошёл, посмотрел: «А что предлагаешь? Добронировать? У нас нет массы».

«Я найду, снимите кормовую броню, те самые 305 мм, бесполезный балласт. Поставьте 200 мм, как и на борт. Сэкономленные тонны пустите на крышу, доведите хотя бы до 100 мм и лоб с бортами до 250 мм».

«Тысяча тонн, Алексей Николаевич. Где мы их возьмём?»

«На перераспределении, пояс стал толще, но короче. Палубы толще, но рациональнее. Барбеты толще, но уже, всё вместе даёт запас».

Бубнов долго молчал, а потом сказал: «Хорошо. Пересчитаю, но если не влезет, то пеняй на себя».

Я кивнул, пенять буду, лучше на себя, чем на вражеские снаряды.

Тридцать миллионов на спасение

Визит к адмиралу Бирилёву. Январь 1908 года

Алексей Алексеевич Бирилёв принял меня в своём кабинете на Мойке. Старый адмирал, помнивший ещё «Аврору», сидел в кресле, перебирал какие-то бумаги.

«Садись, Крылов. — Он указал на стул. — Что там у тебя стряслось?»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.